

ТАЙНОЕ БРАТСТВО



Бабиченко-Павлова Наталия

Наталия Бабиченко

Тайное Братство

<https://litres.ru/74323057>

SelfPub; 2026

Аннотация

Что, если история уцелела лишь потому, что неизвестные герои заплатили за неё любовью, памятью и собственной жизнью? Тайное Братство проходит через падение Трои и Константинополя, татаро-монгольское иго, Куликово поле, Стояние на Угре и эпоху Петра I, встречая Жанну д'Арк, Чингисхана, Батю, Влада Дракулу, Галилея, Пушкина и Александра I. Но главная битва идёт за человеческую душу. Любовь Сейксы, дочери Света, и Саэра, сына Тьмы, способна остановить Змея. Однако цена спасения может оказаться страшнее поражения. Историческая точность, окутанная легендами, невероятными приключениями, перемещениями во времени, философскими рассуждениями и, конечно же, юмором. Приятного прочтения!

Содержание

Глава 1. Девочка у края фьорда	5
Глава 2. Чёрный огонь	13
Глава 3. Волки и оленёнок Мох	20
Глава 4. Семя Койпера	29
Глава 5. Логос Галактики	38
Глава 6. Цена невесты	46
Глава 7. Фьорд, который не отдал её	54
Глава 8. Предназначенная	63
Глава 9. Шесть двойных рождений	74
Глава 10. Дети, которые не боялись боли	83
Глава 11. Белая сова Сейксы	94
Глава 12. Дары двенадцати	102
Глава 13. Архив за Нептуном	115
Глава 14. Первые проводники Логоса	124
Глава 15. Логос говорит через Моху	129
Глава 16. Уроки через зверей	135
Глава 17. Первые видения	142
Глава 18. Кристалл заговорил	152
Глава 19. Круг замкнулся	164
Глава 20. Кодекс вмешательства	170
Глава 21. Прыжок через время	178
Глава 22. Временная щель	185
Глава 23. Жанна д'Арк	192

Глава 24. Девушка, которую забрал дым	200
Глава 25. Щель в пламени	207
Глава 26. Сад после костра	215
Глава 27. Клятва короля	225
Глава 28. Возвращение домой	235
Глава 29. Человек из снега	245
Глава 30. Граф из Парижа	253
Глава 31. Дом Муромцева	262
Глава 32. Серебряная нить Софьи	272
Глава 33. Шпага за честь служанки	282
Глава 34. За столом перед бурей	293
Конец ознакомительного фрагмента.	294

Наталия Бабиченко

Тайное Братство

Глава 1. Девочка у края фьорда

Север. IX–X века.

В ночь, с которой по-настоящему началась её история, Эйя проснулась от тишины.

Отец после пяти лет болезни впервые не кашлял и не стоял во сне.

Она соскочила с лежанки. Холод утоптанной земли обжёг босые ступни. В очаге догорал последний красный уголь, и его слабого света едва хватало, чтобы различить запавшие щёки отца и губы, на которых не было дыхания.

— Папа...

Эйя прижала ухо к его груди. Сначала слышала только собственную кровь — тяжёлую, быструю, гремющую в висках. Потом где-то глубоко дрогнул один слабый удар.

Отец вдохнул резко, с болью, словно вернулся оттуда, где воздух уже не нужен.

Эйя поднесла к его губам деревянную чашу. Вода пролилась на подбородок: руки не слушались.

— Не бойся, доченька, — прошептал он.

— Я не боюсь.

Он посмотрел на неё внимательно. До болезни отец безошибочно отличал след волка от следа оленя, понимал погоду по запаху фьорда и видел ложь раньше, чем человек успевал договорить. Болезнь отняла у него силу, но не этот взгляд.

Эйя улыбнулась чуть шире, чем нужно.

Отец не стал разоблачать её. В этой маленькой дочерней лжи было больше любви, чем обмана: она хотела заслонить его от смерти, словно смерть могла не заметить человека за улыбкой ребёнка.

Эйя вытерла воду с его лица и только тогда увидела у лежанки шерстяную тряпицу с тёмным пятном подсохшей крови.

Она молча подложила в очаг последние тонкие ветки.

До рассвета оставалось несколько часов.

До весны — слишком много дней.

В ту минуту Эйя впервые поняла: можно любить человека всем сердцем и всё равно не иметь силы удержать его в мире.

Тогда она ещё не была Эйей Лунной, Матерью Братства и Хранительницей кристаллических хроник. Она была северной девушкой с потрескавшимися ладонями, в старой шерстяной накидке и именем, коротким, как дыхание на морозе. Старшие женщины связывали это имя с луной. Позднее в тайных записях появится другой перевод: «та, что слышит лунный свет».

Но пока Эйя слышала только дыхание больного отца, море

под скалами и ветер, который зимой находил щели даже в самом крепком доме.

Это происходило на дальнем Севере в эпоху викингов, у фьорда в землях Люнгена. Там норвежские мореходы и предки саамов встречались, торговали, спорили и порой рондились. Северяне называли местных охотников и проводников финнами, хотя к современным финнам это имя отношения не имело. Здесь человек принадлежал не карте и не королю, а воде, звериным тропам, памяти рода и земле, которая позволяла ему пережить ещё одну зиму.

Поселение пряталось в долине между горами и морем. Низкие дома с дёрновыми крышами сливались с холмами; издалека были видны лишь тонкие нити дыма. Люди ловили треску и сельдь, сушили рыбу на ветру, охотились на лося и дикого оленя, собирали ягоды и травы. Несколько приручённых оленей держали для дороги и тяжёлой поклажи, но больших стад, какие появятся через века, здесь ещё не знали.

В доме Эйи пахло солью, дымом и морем. Этот запах был настолько привычным, что дети узнавали по нему жилище раньше, чем начинали говорить.

С юга, из Халогаланда, иногда приходили длинные лоды. Они приносили железные иглы, ножи, соль и муку, а забирали мех, кость, пух и ремни из тюленьей кожи. Пока пришедшие улыбались, это называлось обменом. Когда улыбки исчезали — данью.

За несколько зим до чёрного огня одна такая лодья подо-

шла к берегу. Отец Эйи уже не мог подняться, и старейшины долго переглядывались, словно болезнь одного человека отняла язык у всей общины.

Тогда к чужакам вышла Эйя.

На ней не было мехового воротника: утром она сняла его со своей накидки и отдала к общим шкурам, чтобы выменять соль для отцовского отвара. Холод лизал шею, но девушка не ёжилась.

Бородатый торговец потребовал два длинных ремня из тюленьей кожи.

— Возьмёшь оба — твоя лодья останется здесь до весны,
— сказала Эйя на его языке, медленно подбирая слова.

Он усмехнулся.

— Небо чистое.

— Поэтому ты всё время смотришь на туман у входа во фьорд?

Улыбка исчезла.

Эйя видела то, что он хотел скрыть: старое плечо ныло перед переменой погоды, у берега уже собиралась ледяная крошка, а ветер пах не морем, а камнем. Ночью течение повернёт, лёд прижмёт судно к берегу, и без прочного ремня его не вытащить.

Чужаки оставили один ремень, две иглы и горсть соли сверх обмена.

Ночью лёд действительно стиснул берег. Лодью вытянули тем самым ремнём, который Эйя не позволила унести.

Вернувшись домой, она положила соль возле отца. Он коснулся её обнажённой шеи и сразу понял цену.

— Ты отдала своё тепло.

— За твоё лекарство.

— Не привыкай жертвовать собой ради всех. Иначе от тебя однажды ничего не останется.

Эйя решила, что это обычное отцовское предостережение.

Позднее она поймёт: это было первое пророчество.

Мать Эйи умерла, когда девочке было пять лет. Взрослые говорили о болезни и тяжёлой зиме, но Эйя помнила иначе.

В тот день мама пригладила ей волосы, поцеловала и ушла в ослепительный зимний свет. Эйя махала вслед, шурилась до боли, но ничего не могла разглядеть. Солнечный луч лёг от материнских ног к небу, словно золотая тропа.

Мама не вернулась.

— Её забрал свет, — говорила маленькая Эйя.

Кто-то жалел девочку, кто-то качал головой. Только отец никогда не отнимал у неё эту память.

— У каждого свой путь в небо, — говорил он. — Твоя мама ушла по свету.

Она осталась в запахе трав, которые сушились под балками, в песне живого ручья, в привычке чуть криво улыбаться. Когда мать чистила рыбу, один уголок её губ всегда поднимался раньше другого. Эйя берегла эту маленькую несовершенство особенно ревностно: именно она доказывала, что

память настоящая.

Отец учил дочь различать страх и предупреждение.

— Страх кричит: «Беги куда угодно». Предупреждение говорит: «Посмотри внимательнее».

Эйя смотрела.

Она слышала пустоту под тонким льдом, замечала перемену ветра раньше взрослых, находила звериную тропу там, где другие видели только снег. Собаки не лаяли на неё. Раненные животные успокаивались под её ладонью. Старухи говорили, что зверь тянется к человеку без злобы. Мужчины отвечали, что зверь просто чувствует слабость.

— Нет, — однажды сказал отец. — Они чувствуют в тебе путь.

Дом стоял у края утёса. Внизу море било в чёрные камни и взлетало белой пеной. Во время шторма казалось, что вода хочет подняться к людям, забрать огонь, детей и память, а потом унести всё в холодную глубину.

В тот вечер море вдруг стихло.

Не успокоилось — замолчало.

Эйя вышла к живому ручью. Он не замерзал даже в самые злые морозы, но теперь вода остановилась на один удар сердца. Не покрылась льдом, не обмелела — застыла посреди движения.

На гладкой поверхности отразилось ночное небо, хотя над долиной ещё держался бледный день.

Эйя наклонилась. Вместо своего лица увидела тёмную по-

лосу между звёздами.

Под снегом что-то протяжно застонало.

Звук шёл не с гор и не со стороны моря. Он поднялся из глубины — глухой, тяжёлый, будто сама земля во сне вспомнила давнюю боль.

Сугроб у ручья приподнялся.

Из трещины вырвался пар. Тёплый, пахнувший мокрым камнем. Земля вздохнула ещё раз, и этот вздох прошёл под ступнями Эйи до самого сердца.

Над долиной закружили чёрные вороны.

Их становилось всё больше. Они летели против ветра, медленно сужая круг над домом у утёса. Ни одна птица не каркала. От этого безмолвия чёрная стая казалась не живой, а вырезанной из самой ночи.

С ведром колотого льда подошла Тора — соседка с грубоватым голосом и привычкой смеяться над всем, что нельзя было засолить или съесть.

— Опять звёзды считаешь? — спросила она. — Досчитаешься до беды.

— Они сегодня другие.

— Звёзды всегда одинаковые. Это люди каждый день находят новую причину бояться.

Эйя подняла глаза.

Северное сияние раздвинулось, словно занавес. Между двумя знакомыми звёздами проступила тонкая чёрная царапина. Она не заслоняла свет. Свет обрывался у её края.

Вороны разом повернули головы к небу.

Из дома донёсся кашель отца.

Эйя уже шагнула к двери, когда услышала своё имя.

Не голос — память о голосе, пришедшая сверху.

— Эйя...

Так звала её мать.

Но перед именем не было короткого вдоха.

Девушка замерла.

Впервые в жизни она не смогла понять, было это предупреждением или приглашением.

Глава 2. Чёрный огонь

Чёрная царापина не исчезла наутро.

Только показать её другим Эйя не могла. Стоило позвать Тору или кого-нибудь из рыбаков, небо становилось обычным. Ночью, когда отец засыпал, щель возвращалась и медленно ползла между созвездиями, не подчиняясь их движению.

Иногда Эйе казалось, что это не след на небе.

Это глаз, приоткрытый с другой стороны мира.

Вороны не улетали три дня. Они сидели на крышах, на камнях у ручья, на старой сосне. Чёрные тела на белом снегу. Когда Эйя выходила из дома, птицы поворачивали головы вслед, но не издавали ни звука.

На четвёртую ночь северное сияние спустилось так низко, что зелёные полотна света коснулись гор. Дети выбежали наружу, мужчины остановились у сетей, женщины подняли лица к небу.

Вороны сорвались одновременно.

Они закружили над долиной, и каждый новый круг становился теснее предыдущего. Казалось, небо медленно затягивает над поселением чёрную петлю. Над свинцовым Северным морем клубилась тьма, будто сама ночь разорвалась на тысячи клочков и закружилась в безумном вихре.

Множество воронов носились в воздухе, сплетая полёт в

зловещую спираль — круг за кругом, всё теснее, всё стремительнее, словно затягивая в невидимую воронку само дыхание мира. Их карканье не было просто криком птиц — это был хриплый, надрывный хор, в котором слышался шёпот древних проклятий и стоны забытых душ. Вороны сталкивались друг в другом, щедро рассыпая перья над водой.

Море отзывалось на эту тьму: волны вздымались всё выше, разбиваясь о скалы с яростным рёвом. Каждая пенная пасть казалась живой — голодной, алчной, готовой поглотить любой свет, любую надежду. Вода бурлила и клокотала, будто в её глубинах ворочалось нечто древнее и злое, подстёгивая бурю. На острых, изломанных утёсах, нависших над кипящей бездной, выстроилось целое полчище волков. Они стояли у самого края, где камень обрывался в пустоту, и смотрели в бурю немигающими жёлтыми глазами. Шерсть на загривках вздыбилась, морды были искажены воем — диким, протяжным, рвущим воздух в клочья. Их вой взмывал вверх, ударялся об отвесные скалы и рассыпался эхом, чтобы тут же собраться вновь, уже гуще, страшнее, сливаясь с карканьем воронов в единую, леденящую душу мелодию. Казалось, сама земля и небо сговорились породить этот хор ужаса — будто мир на мгновение замер на краю гибели, и только эта жуткая песнь держала его от окончательного падения во тьму.

Тогда Эйя увидела огонь.

Он летел среди сияния, но сам не светился. Наоборот —

он поглощал свет. Там, где проходило тёмное тело, зелёные ленты гасли, звёзды исчезали, а ночь становилась глубже, чем могла быть.

Чёрный огонь пролетел над горами и упал за дальним склоном.

Удара не было слышно.

Не дрогнули стены. Не прогремело небо. Не поднялся столб дыма.

Сначала наступила тишина. Мгновенная. Вороны разлетелись в стороны. Только одна птица осталась над долиной. Она сделала последний круг и исчезла там, куда упал чёрный огонь. Волки, испуганно пятились назад, словно не понимая, как они оказались на крутых обрывах. Успокоилось море и небо.

Земля под ногами Эйи медленно выгнулась.

Снег на площади вздулся, словно грудь огромного спящего существа. Из-под сугробов вырвались белые струи пара. Послышался низкий стон — не громкий, но такой глубокий, что заболели зубы и задрожала вода в вёдрах.

Собаки Эйи Гром и Вихрь легли на снег и закрыли морды лапами.

Утром люди собрались у дома старейшины. Одни говорили, что небесный камень может быть железом и из него получится оружие. Другие отвечали, что даже собаки отказываются брать след. Молодой охотник дважды предложил сходить и дважды умолкал, когда его спрашивали, пойдёт ли он

первым.

Эйя стояла рядом и видела, как страх переходит от человека к человеку без единого прикосновения. Каждый ждал, что ответственность возьмёт сосед. Если находка окажется богатством, все потребуют долю. Если проклятием — все будут искать виновного.

— Вы уже выбрали, кто пойдёт? — сказала она.

Мужчины повернулись к ней.

— Никого мы не выбирали, — резко ответил старший рыбак.

Но глаза отвёл первым.

К полудню решение было принято: никто не пойдёт.

— Что упало с неба, тому на земле не место, — сказал старейшина.

Собаки заскулили, когда их попытались вывести за край поселения. Приручённые олени пятились, рвали ремни и били копытами. Птицы молчали.

Даже Тора перестала шутить.

— Не трогай это, девочка, — сказала она Эйе. — Не всё, что знает твоё имя, имеет право его произносить.

В доме потрескивал очаг. Под балками сушились травы. В углу висела не дочинённая сеть. Запах дыма, рыбы и старой шерсти был таким родным, что Эйе стало больно ещё до разговора.

Отец лежал, повернув лицо к огню.

— Ты думаешь о том, что упало, — сказал он.

— О чёрном огне?

— О том, что позвало тебя.

Она села рядом и положила голову на край лежанки. Ей захотелось снова стать пятилетней: отец здоров, мама жива, взрослые знают ответы, а любая дорога заканчивается у домашнего очага.

— Мне страшно.

— Значит, ты человек.

— Запрети мне идти.

Отец долго смотрел на огонь.

— Я могу запретить. Ты останешься, и, если оттуда придёт беда, будешь до конца жизни знать, что услышала её раньше всех и отвернулась. Могу отпустить — и, если ты погибнешь, буду знать, что сам открыл дверь единственному ребёнку. Отцы тоже не всегда выбирают правильный путь для своих детей.

Эйя сжала его сухую руку.

— Если скажешь остаться, я останусь.

— Телом. А сердце всё равно уйдёт туда. Человек, у которого тело и сердце живут в разных местах, долго не выдерживает. Только ты сама должна принять решение.

Он протянул ей свой нож. Костяная рукоять потемнела от его ладони, возле обуха осталась маленькая выбоина — след от медвежьей кости.

— Послушай внимательно. С тобой может заговорить тот, кого ты больше всего хочешь услышать. Если услышишь

мать, не отвечай сразу. Сначала вспомни, как она дышала между словами.

Эйя подняла глаза.

— Почему?

— Тьма знает, что мёртвыми легче всего спекулировать на ранах тех, кто потерял самых дорогих сердцу людей.

Тора вошла без стука, сняла мокрую накидку и села у очага. Она ничего не сказала. В этом молчании было обещание: отец не останется один.

Эйя накинула шерстяной плат, положила в мешок сушёную рыбу и вышла.

Серая долина встретила её колючим снегом и запахом соли. Дома за спиной казались тёмными буграми, вросшими в землю. Кто-то смотрел ей вслед через щель в двери. Кто-то поспешно закрыл ставню.

На крыше её дома сидел один чёрный ворон.

— Не ходи, — сказала Тора с порога. — Не всё, что зовёт, хочет добра.

— Я знаю.

— Тогда зачем?

Эйя посмотрела на далёкий склон.

— Потому что оно зовёт меня по имени.

Она пошла одна.

За спиной скрипнула дверь.

— Эйя, — позвала мать.

Голос был таким близким, что тело начало оборачиваться

раньше мысли. Девушка остановила себя на полу движении.

Настоящая мать всегда делала короткий вдох перед её именем.

За спиной никто не вдохнул.

Эйя продолжила путь.

— Доченька...

Голос стал нежнее. Потом испуганнее.

— Не оставляй меня здесь.

Эйя вонзила ногти в ладони и шла.

Голос рассердился. Обвинил её в жестокости. Потом заплакал так, как мать плакала в последнюю зиму, когда Эйя сильно болела.

Эйя не повернулась.

Когда поселение исчезло за склоном, плач оборвался.

В тот же миг снег под её ногами едва заметно поднялся и опустился.

Земля сделала вдох.

А далеко впереди, за белой пеленой, кто-то ответил ей таким же медленным дыханием.

Глава 3. Волки и оленёнок Мох

Ветер умер.

На Севере он не исчезал без причины. Мог ослабнуть, сменить голос, уйти к морю и вернуться с гор, но никогда не оставлял мир совершенно неподвижным.

Теперь же тишина стояла такая, будто вся долина задержала дыхание вместе с Эйей.

Сначала путь был знакомым: живой ручей, старая сосна, камень, возле которого летом росла морошка. Потом начался подъём. Снег стал твёрдым и звонким. Каждый шаг отзывался тонким стеклянным звуком.

Из-под сугроба вырвался пар.

Эйя отступила. Земля под снегом снова вздохнула — медленно, тяжело, словно глубоко внизу ворочалось раненое существо. Из расщелины донёсся протяжный стон, затем всё снова стихло.

Над склоном закружили три чёрных ворона. Они не махали крыльями, но держались против невидимого потока воздуха и не сводили глаз с девушки.

И вдруг из белой неподвижности вышли волки.

Сначала появились глаза — жёлтые, низкие, неподвижные. Потом снег отделил от себя серые спины, узкие морды и тёмные лапы. Волки не бросились. Они возникли так бесшумно, будто всегда стояли здесь, а мир только сейчас поз-

волил Эйе их увидеть.

Один держался слева. Другой почти исчез справа. Стая не нападала — измеряла расстояние.

Во рту стало сухо. Колени требовали бежать. Разум приказал не двигаться. Иногда между жизнью и первым рывком помещается только одно неверное движение.

Волков было шестеро. Старый, с белёсым рубцом у глаза, стоял выше остальных на камне. Он смотрел не на мешок, не на нож у пояса и даже не на Эйю.

Он смотрел туда, куда она шла.

Эйя медленно опустила руку к ножу, но не вынула его.

— Я не пришла за вашей добычей.

Волки молчали.

Пар от их дыхания поднимался тонкими струйками и тут же исчезал. Старый зверь чуть повернул голову.

Тишина сломалась отчаянным топотом.

Из-за снежного бугра вылетел оленёнок.

Он был совсем маленьким: худым, лохматым, с длинными ногами, которые ещё не успели договориться, как им двигаться вместе. На задней ноге темнела царапина, на животе засохла кровь рождения, а на морде белел след молока. Он потерял мать так недавно, что продолжал искать её запах в каждом тёплом существе.

На носу у него висел клочок сухого мха. Одно ухо торчало вверх, другое смотрело в сторону. Глаза были огромными — такими бывают глаза того, кто уже увидел собственную

смерть, передумал умирать и теперь спешит пересказать эту неприятность первому встречному.

Передние ноги бежали быстрее задних. Первые три прыжка выглядели почти героически, четвёртый — тревожно, а на пятом оленёнок споткнулся о собственное копыто, проехал мордой по снегу, вскочил и сделал вид, что именно так всё и было задумано.

Молодой волк дёрнулся за ним.

Старый едва повернул голову — и тот застыл.

Оленёнок добежал до Эйи и попытался спрятаться за её спиной. Промахнулся, ткнулся мордой ей в бок, запутался в краю платя, наступил на него копытом и сам потянул девушку вниз.

— Тише!

Зверёк поднял голову. На его морде отразилась мучительная попытка подумать. Через мгновение он сдался и жалобно фыркнул, разбрызгивая иней по её рукаву.

Потом сунул голову под плат. Снаружи остались дрожащая спина и нелепо торчащий хвост.

Спрятался он, по собственному мнению, безусловно.

В эту секунду Эйя могла отойти. Волки получили бы добычу, а она — время, чтобы добраться до чёрного огня и вернуться к отцу. Никто в поселении не осудил бы её. На Севере выживание редко бывает чистым.

Оленёнок дрожал под её ладонью и доверял ей без всякой причины.

Именно поэтому она не смогла отступить.

Невиновность не обязана заслуживать защиту. Если слабого спасают лишь тогда, когда это удобно, это не милосердие. Это торговля.

Эйя положила ладонь на его шею. Под жёсткой холодной шерстью бешено колотилось маленькое сердце.

— Ты тоже не должен быть здесь.

Оленёнок попытался шагнуть, не вынимая головы из-под плата. Шагнул вбок и снова ударил её лбом.

Эйя невольно улыбнулась.

Вокруг стояли волки. Впереди лежало нечто, заставившее замолчать ветер. А рядом дрожал маленький глупый зверь, способный быть смешным даже на краю смерти.

Старый волк сошёл с камня.

Оленёнок выдернул голову из-под плата и встал перед Эйей. Видимо, решил, что теперь будет защищать её.

Получилось плохо.

Он расставил копыта слишком широко, вытянул шею и грозно фыркнул. Тут же поперхнулся собственным фырканием, чихнул, испугался чиха и отскочил назад, наступив Эйе на ногу.

— Ай.

Оленёнок посмотрел виновато.

В глазах старого волка мелькнуло усталое недоумение. Будто он хотел спросить стаю: «И ради этого мы бегали по склону?»

Оленёнок снова попытался выглядеть грозно. Клочок мха на его морде уничтожил остатки достоинства.

Эйя убрала руку от ножа и раскрыла ладонь перед волком.

Это было страшнее, чем вынуть оружие. С клинком человек хотя бы притворяется, что управляет исходом. Открытая рука не оставляет такой лжи.

Старый зверь приблизился. Его тёплое дыхание коснулось пальцев. Одного движения хватило бы, чтобы сомкнуть челюсти на запястье.

Волк втянул воздух и замер.

Под кожей Эйи вспыхнула тонкая серебряная линия — слабая, как отражение луны в трещине льда.

Стая отступила.

Не от ножа.

Не от человека.

От того, что просыпалось в ней.

Оленёнок увидел свет, вытянул шею и лизнул её запястье. Скривился, словно ожидал мох, а получил звезду, и обиженно замотал головой.

— Не всё в мире едят.

Он посмотрел с явным сомнением.

Старый волк поднял морду. Пасть открылась, но воя не было. Все звери разом повернули головы туда, где лежал чёрный огонь.

Вороны над склоном тоже замерли.

Потом волки расступились.

Они не убежали и не исчезли — просто открыли дорогу.

Эйя поняла: стая пришла не остановить её. Волки проводили до границы, за которую сами не хотели идти.

Она сделала шаг.

Оленёнок пошёл следом.

Потом увидел на камне сухой мох и, забыв о волках, смерти и предназначении, попытался его съесть.

— Сейчас не время.

Оленёнок жевал.

— Правда не время.

Он зажевал быстрее, опасаясь, что время передумает и отнимет находку.

Эйя потянула его за шерсть на шее. Он пошёл с таким видом, будто приносил великую жертву ради человека, не понимавшего ценности хорошего мха.

— Назову тебя Мохом.

Зверёк тут же полез за новым клочком, словно решил подтвердить имя делом. Копыта разъехались. Мох кубарем скатился по склону и остановился, накрыв собой что-то тёмное.

— Мох!

Эйя бросилась вниз, подняла оленёнка и увидела кристалл.

Он лежал на снегу без воронки, дыма и следов жара. Чёрный снаружи, прозрачный в глубине — как замёрзшая ночь. Внутри медленно двигались тонкие серебряные нити.

Вокруг него снег дышал.

Поднимался и опускался едва заметно, словно кристалл пустил корни глубоко в землю и заставил её сердце биться в другом ритме.

Вороны кружили прямо над ним.

Эйя опустилась на колени. Мох прижался к её боку, но не убежал.

Рука сама потянулась к находке.

Кристалл оказался тёплым. Не как огонь — как солнечный луч из детской памяти, тот самый, по которому ушла мама.

Внутри замелькали лица, реки, пожары, ещё не рождённые дети и башни, которые построят через века. Эйя увидела железных птиц в небе, города выше гор, людей, говорящих через пустоту, и войны, где огонь падал с самого неба.

Потом всё исчезло.

Перед ней стояла мать.

Живая. Молодая. В той самой одежде, в которой ушла по светлой дороге. За её спиной горел домашний очаг. Отец ходил без палки и смеялся, раскладывая на столе свежую рыбу.

— Брось камень и иди ко мне, — сказала мать. — Всё вернётся.

Эйя шагнула.

Мать улыбнулась безупречно.

Настоящая мама улыбалась чуть криво.

— Ты не она.

Дом дрогнул. Улыбка на чужом лице растянулась слиш-

ком широко.

Видение сменилось.

Отец лежал на постели. Его дыхание обрывалось. Рядом стояла сама Эйя с кристаллом в руках. Серебряный свет входил в больное тело, спина отца выпрямлялась, в лицо возвращалась кровь.

Он открывал глаза.

— Папа...

Но вокруг здорового отца не было матери.

Исчезла её песня. Исчез запах трав на руках. Исчезла крикая улыбка. В памяти Эйи осталось пустое место, освещённое белым светом.

Потом отец посмотрел на дочь и спросил:

— Кто ты?

Видение оборвалось.

Эйя не поняла цену до конца. Поняла только одно: камень умеет возвращать плоть, отнимая нечто, без чего жизнь перестаёт быть жизнью.

Она хотела отдёргнуть руку, но кристалл уже держал её.

Боль пришла сразу. Каждый нерв вспомнил, что способен гореть. Эйя почувствовала движение крови, холод внутри зубов, собственный скелет. Серебро шло не по венам — прокладывало рядом новые пути.

Ей показалось, что тело разбирают на мельчайшие части, читают и складывают обратно, не спрашивая, в каком порядке она хотела бы остаться собой.

Мох закричал тонко, почти по-человечески, и прижался к её боку.

Этот звук удержал Эйю там, где имя ещё принадлежало ей.

Серебряные нити вошли в ладонь. Одна линия вспыхнула на запястье. Вторая поднялась к локтю. Затем целая сеть побежала под кожей, словно кто-то зажжёт внутри неё карту неизвестного мира.

Эйя вскрикнула, но крик не нарушил тишину.

Когда она смогла подняться, часть кристалла исчезла в ней. Оставшийся многогранный осколок лежал в руке и бился медленно, как чужое сердце.

Обратный путь запомнился обрывками. Живой ручей зазвенел громче при её приближении. Собаки подняли головы до того, как она вошла в поселение. Олени попятились, а потом потянулись следом.

Тора увидела серебро под кожей и отступила.

Отец посмотрел на дочь — и понял больше, чем она успела рассказать.

— Это то, что старше нас, — сказал он.

Над домом снова кружили вороны.

На этот раз их круг был похож не на петлю.

На часы, у которых оставалось совсем мало времени.

Глава 4. Семя Койпера

Первую ночь после возвращения Эйя провела с запястьями, обмотанными мягкой кожей.

Серебряные линии двигались под повязками. Они зудели, вспыхивали и затихали, словно кто-то изнутри проверял, все ли дороги открыты.

На столе под грубой тканью лежал кристалл. Часть его растворилась в Эйе глубже крови, но оставшийся многогранный осколок продолжал медленно пульсировать.

Огонь возле него горел тише. Собаки не переступали порог. Олени за стеной били копытами, хотя поблизости не было ни волка, ни бури.

Только Мох не отходил от Эйи. Он искал носом её ладонь, укладывал на неё тяжёлую голову и вздрагивал всякий раз, когда кристалл бился под тканью.

Позднее дети Эйи назовут осколок Семенем Койпера — памятью, пришедшей из ледяной темноты за далёкими планетами. Но сама Эйя не знала ни слова «Койпер», ни имён небесных тел. Для неё это была небесная заноза, живая не дыханием, а ожиданием.

Отец позвал её.

— Подойди.

Она села у лежанки. Он долго рассматривал серебряные линии, просвечивавшие сквозь повязки.

— Больно?

— Нет.

— А твои воспоминания?

Вопрос испугал сильнее боли.

Эйя закрыла глаза и стала искать себя: руки матери в рыбьей чешуе; её песню над водой; отцовский смех до болезни; вкус первой морошки; обиду на мальчишку, сломавшего костяную иглу. Мелкие, несовершенные воспоминания. Небу они были не нужны. Значит, пока принадлежали ей.

— На месте.

Отец выдохнул.

— Береги их.

— Почему ты спрашиваешь?

— Потому что тело у человека одно. А жизнь — во всех, кто его помнит.

В ту ночь Эйя заснула у очага. Мох положил морду ей на колени. Ветер ходил по крыше, но в доме временами становилось так тихо, что слышно было, как под полом потрескивает земля.

Сон пришёл без границы.

Эйя стояла босая в пространстве, где не было ни верха, ни низа. Вокруг вращались миллионы ледяных обломков. В каждом жили картины: слово, изменившее судьбу; рука, не успевшая удержать ребёнка; любовь; предательство; смерть, которая могла не случиться.

Перед ней не было существа с лицом. Было поле — разли-

тый повсюду разум. Оно не имело глаз, но видело. Не имело сердца, но помнило каждый удар человеческого сердца.

— Кто ты?

Ответ коснулся кожи, костей и того места, где рождается страх.

— Я Логос Галактики. Я помню.

Тишина стала огромной.

— Что ты помнишь?

— Всё, что оставило след.

— Зачем тебе я?

— Ты слышишь след прежде, чем он становится судьбой.

— И поэтому вошёл в меня без разрешения?

В одном из ледяных тел вспыхнул далёкий город и рассыпался пеплом.

— Зов был произнесён, когда ты коснулась Семени.

— Я не знала, на что отвечаю.

— Знание не всегда приходит раньше выбора.

— Удобный закон для того, кто не рискует собственным телом.

На этот раз молчание Логоса не было величественным. В нём чувствовалось нечто, похожее на вину.

Он показал Эйе время не как реку, а как след зверя на снегу. Зверь уже ушёл, но белое поле хранит его путь. Один шаг чуть правее — и дорога меняется. Одна снежинка срысывается со склона — и становится лавиной.

— Ты хочешь, чтобы я меняла прошлое?

— Не прошлое. Последствия выбора там, где ещё остаётся путь к иному исходу.

— Я не служу тебе.

— Можешь отказаться.

— А Семя уйдёт?

— Да. И заберёт всё, к чему прикоснулось.

— Что именно?

— Часть памяти. Способность отличать своё от вложенного. Некоторые нити имени.

Эйя почувствовала ярость — горячую, человеческую, спасительную.

— Это не выбор. Это дверь, которую ты открыл у меня за спиной, а теперь разрешаешь выйти через пропасть.

— Я отвечаю за свой поступок.

— Тогда научись отвечать перед теми, кого используешь.

Сон исчез.

Эйя открыла глаза от хриплого вдоха.

Отец сидел на лежанке, опираясь спиной о стену. На губах блестела кровь. Тора держала его за плечи, но он медленно сползал вниз.

— Эйя...

Она бросилась к нему.

Кожа была холодной, дыхание — коротким и редким. Между вдохами возникали страшные пустоты, в которые могла вместиться целая жизнь.

— Принеси кристалл, — произнёс Логос.

Голос прозвучал не в воздухе — внутри неё.

— Ты можешь его спасти?

— Да.

Одно слово раскололо мир.

Эйя сорвала ткань со стола. Семя вспыхнуло, узнав её руку. Серебряные линии под кожей потянулись к отцу.

— Что ты делаешь? — прошептал он.

— Возвращаю тебе здоровье.

Она прижала кристалл к его груди.

Сначала ничего не произошло. Потом тело отца выгнулось. Он вдохнул глубже. Под серой кожей проступил слабый цвет. Дрожащая рука стала крепче.

— Ещё, — потребовала Эйя.

Кристалл ответил.

Серебряная нить вышла не из её ладони — из виска.

Вместе с ней из памяти потянулось первое воспоминание: мать чистит рыбу и поёт. Лицо ещё было ясным, но песня стала тише.

Эйя вздрогнула.

Вторая нить вынесла запах материнских волос.

Третья коснулась кривой улыбки.

Один уголок губ исчез.

— Нет...

Отец открыл глаза. В них возвращалась жизнь, но вместе с ней пришёл ужас понимания, какова цена его выздоровления.

— Остановись.

— Я могу спасти тебя.

— Остановись, Эйя, ты теряешь свои воспоминания, спасая меня.

— Я найду воспоминания. Я запишу их. Ты расскажешь мне всё заново.

Он с неожиданной силой схватил её за запястье.

— Эйя, ты забудешь меня. Я скажу: «Я твой отец», а для тебя это будет просто звук. Кого ты пытаешься спасти?

— Тебя!

— Тело. Не меня.

Семя пульсировало между ними. Ещё одна серебряная нить потянулась из головы Эйи.

Мать стояла в солнечном свете и махала ей рукой.

Лицо начинало белеть.

Отец прижал ладонь к кристаллу и оттолкнул его от груди.

Цвет сразу ушёл с его лица.

— Нет! — Эйя снова потянулась к нему.

Он поднял руку.

— Я запрещаю.

Впервые за многие годы в его голосе прозвучала сила прежнего охотника.

— Ты не можешь просить меня смотреть, как ты умираешь.

— Могу. Я твой отец. Иногда любовь обязана просить о невозможном.

— Я не хочу тебя терять.

— Тогда не теряй.

Он коснулся её виска.

— Я живу здесь. И твоя мать живёт здесь. Наша вечность

— в том, что ты помнишь песню мамы, мой смех, наши ошибки, тепло очага, ты передашь эти воспоминания о нас своим детям, а они передадут своим. В этом и заключается память. Мы живы пока нас помнят. Если ради нескольких лет моего дыхания ты отдашь свою память Семени, мы оба, в забвении, умрём по-настоящему.

Эйя плакала, уже не пряча слёз.

— Я смогу создать новые воспоминания с тобой.

— А с матерью?

Она не ответила.

— Кто вернёт тебе её руки? Кто вспомнит, какие сказки она рассказывала тебе перед сном? Я хранил память о ней в тебе все эти годы. Не заставляй меня убить её второй раз ради собственного страха.

— Папа...

— Посмотри на меня.

Эйя подняла глаза.

— Память — не тень жизни, — сказал он. — Память и есть её продолжение. Пока ты помнишь нас, смерть получает только тело. Не отдавай ей остальное добровольно.

Кристалл снова вспыхнул.

Он предлагал выбор.

Один шаг — и сердце отца забьётся сильнее.

Один шаг — и голос матери навсегда исчезнет из ее памяти.

Эйя взяла Семя обеими руками.

Отец смотрел на неё. Не умолял. Не приказывал больше. Он оставил ей самое тяжёлое — сделать выбор самой.

Эйя завернула кристалл в ткань и положила на пол далеко от лежанки.

В этот миг она принесла отца в жертву.

Не Логосу. Не будущему Братству. Не неведомым детям.

Памяти.

Отец облегчённо выдохнул.

— Вот теперь ты слышишь дорогу.

Эйя легла рядом и прижала его голову к груди, как когда-то он держал её маленькой. Тора отвернулась к очагу. Мох опустился на пол и положил морду на край лежанки.

Снаружи над домом кружили вороны.

Отец говорил всё тише.

Он вспомнил день рождения Эйи. Рассказал, как мать смеялась, потому что новорождённая девочка не плакала, а сердито смотрела на мир. Вспомнил первую рыбу, которую дочь поймала руками и тут же выпустила, пожалев. Вспомнил, как жена пела у воды. Отец все говорил и говорил.

Последний вдох оказался почти незаметным. Грудь поднялась, остановилась и больше не опустилась. Рука на плече Эйи стала тяжёлой. Она ждала следующего удара сердца,

потом ещё одного, прижимала пальцы к шее, к груди, к запястью.

Тишина не ошибалась.

— Папа?

Глаза отца оставались открытыми, но уже не видели её.

Эйя закрыла их ладонью.

Снаружи вороны перестали кружить.

Они один за другим сели на снег вокруг дома, образовав чёрный неподвижный круг.

Земля вздохнула под сугробами. Из трещин снова поднялся пар. Из глубины пришёл долгий стон — словно мир на мгновение принял в себя человеческую боль и не сумел остаться безмолвным.

Эйя не закричала.

Она прижала лицо отца к своей щеке и повторяла его имя до рассвета, боясь, что, если замолчит, кристалл заберёт хотя бы один звук.

В ту ночь она не спасла его тело.

Она спасла его от забвения.

Глава 5. Логос Галактики

Утром Эйя вымыла отцу лицо тёплой водой.

Тора хотела помочь, но девушка не позволила. Она сама разгладила седые волосы, вытерла кровь с губ, поправила шерстяную рубаху. Делала всё медленно и внимательно, словно отец мог открыть глаза и сказать, что она снова торопится.

Мох лежал у порога. Он не жевал, не путался в ногах и не пытался стащить травы из-под лавки. Впервые с момента их встречи маленький зверь понял, что бывает тишина, которую нельзя исправить смешным падением.

Люди унесли отца туда, где община прощалась со своими умершими. Эйя шла рядом и держала его нож. Снег скрипел под ногами. Над фьордом кружили вороны, но теперь не сужали круг. Они поднимались всё выше, пока не стали похожи на чёрные точки среди зелёного сияния.

Когда люди вернулись, дом оказался больше, чем прежде.

Не потому, что раздвинулись стены. Просто исчез человек, чьё дыхание заполняло пространство.

На лежанке осталась вмятина. Возле очага — деревянная чаша. Под балкой висела связка трав, которую отец просил заварить вечером.

Эйя села на пол и долго смотрела на чашу.

Кристалл лежал под тканью.

— Ты знал, — сказала она.

Вода в чаше дрогнула.

— Да.

— Знал, что он умрёт.

— Я видел вероятность.

— Не прячься за словом.

Дом стал тише. Тень на потолке вытянулась, хотя огонь не изменился.

— Я не мог запретить тебе использовать Семя.

— Но мог сказать цену раньше.

— Ты не была готова услышать.

Эйя резко поднялась.

— Это говорят те, кто хочет решить за другого и остаться в тени.

Мох испуганно вскочил. Зацепился задней ногой за край шкуры, повернулся посмотреть, кто его держит, и едва не упал. В другой день Эйя рассмеялась бы. Теперь только освободила его ногу.

— Рядом с тобой невозможно спрятать мысль, — сказала она Логосу. — Значит, ты слышал, как я надеялась. Слышал, как соглашалась потерять себя. И молчал.

— Я наблюдал выбор.

— Люди — не двери, которые ты наблюдаешь. Не следы на снегу. Не сосуды для твоей памяти.

— Ты права.

Эйя замерла.

Она ожидала объяснения, величественного оправдания, холодной истины. Простое признание обезоружило сильнее спора.

— Кто ты? — спросила Эйя теперь уже не во сне, наяву.

Ответ пришёл не голосом. Пространство расширилось. Стены дома остались на месте, но за ними открылась ледяная темнота. Миллионы далёких обломков вращались за пределами человеческого неба. В каждом хранился отпечаток события: выбор, любовь, предательство, смерть, несказанное слово.

— Я Логос Галактики. След, который научился помнить себя.

— Ты Бог?

— Нет. Бог творит. Я помню.

— Тогда почему ведёшь себя так, будто всё живое принадлежит твоей памяти?

Логос не ответил сразу.

— Потому что слишком долго видел мир целиком и разучился видеть боль одного человека.

Эйя опустилаcь возле очага.

— Мой отец был одним человеком.

— Я знаю каждый его след.

— Нет. Ты знаешь события. Я знаю, как он делал вид, что не замечает моей лжи. Как тёр левую бровь, когда сердился. Как молчал, чтобы не отнять у меня надежду. Если этого нет в твоём архиве, ты не знаешь его.

— Поэтому мне нужна ты.

Эйя горько усмехнулась.

— Ты выбрал меня, потому что я слышу то, чего не слышишь ты?

— Потому что память без сострадания становится холодным хранилищем. Ты способна превратить её в ответственность.

В чаше дрогнула вода.

Логос показал ей время языком, который она могла понять. Прошрое было следом зверя на снегу: сам зверь ушёл, но путь сохранился. Будущее — множеством троп под белой поверхностью. Один неверный шаг мог сорвать лавину. Один добрый поступок — удержать склон.

— Ты хочешь, чтобы я меняла судьбы?

— Нет. Я хочу, чтобы появились те, кто сумеет различать: где вмешательство спасает, а где всего лишь подменяет чужую волю своей.

— Мои дети?

Под ладонью Эйи вспыхнуло тепло.

Она прижала руку к животу. Там, где прежде была пустота, горела маленькая точка света.

— Что ты сделал?

— Семя вошло не только в кровь. Оно соединило твою память с двенадцатью линиями жизни.

Страх пришёл не криком, а холодом. Он начался под сердцем и медленно разошёлся по телу.

— Ты снова не спросил.

— Нет.

— Кто дал тебе право?

Логос молчал.

Эйя закрыла живот обеими руками. Первым желанием было отвергнуть всё, что вошло в неё без разрешения. Но свет внутри отозвался не приказом и не голосом Логоса.

Беззащитным теплом.

Она поняла: дети не виновны в способе своего появления.

Эта мысль не простила Логоса. Она отделила невиновных от виновного.

— Прежде чем я соглашусь на что-либо, ты примешь мои условия.

— Говори.

— Ты не заставишь моих детей подчиняться.

— Не заставлю.

— Не скроешь цену вмешательства.

— Я могу не знать всей цены.

— Тогда не выдашь вероятность за истину.

— Согласен.

— Ни один человек не станет средством только потому, что его имя кажется тебе менее важным, чем имя короля или героя.

— Все линии неодинаково влияют на историю.

— Но все одинаково болят, когда их разрывают.

Логос замолчал.

В очаге осыпался уголёк. Снаружи море ударило в скалы. Мох нашёл под лавкой забытый пучок сухих трав и осторожно потянул его к себе, стараясь не шуметь.

Эйя посмотрела на него.

Мох замер с травой во рту.

— Ты можешь не жевать хотя бы сейчас?

Он очень медленно перестал жевать.

— Положи.

Мох задумался. Затем положил пучок на пол, но оставил во рту одну травинку, словно считал это разумным соглашением сторон.

Эйя неожиданно рассмеялась.

Сначала тихо, почти виновато. Потом смех смешался со слезами. Она закрыла лицо руками и плакала так, как не позволила себе возле отца: от боли, благодарности, страха и того невозможного тепла, которое маленький глупый зверь сумел вернуть в опустевший дом.

Мох подошёл и положил голову ей на колени.

Логос ждал.

— Последнее условие, — сказала Эйя, вытирая слёзы. — Ты никогда не назовёшь необходимостью то, что выбрал из удобства.

— Я не могу обещать спасти всех.

— Я не прошу. Обещай не лгать о выборе.

Долгое время слышны были только море и дыхание Мох.

— Обещаю.

— А я обещаю спорить с тобой каждый раз, когда ты забудешь, что память без любви — всего лишь холодный камень.

— Поэтому ты и нужна.

Этот договор не сделал их друзьями.

Он сделал возможным Братство.

Эйя снова коснулась живота. Точка света разделилась на две. Потом на четыре. Восемь. Двенадцать крошечных искр образовали круг и забились в одном ритме.

От этого звука — неслышимого и всё же настоящего — в доме стало теплее.

На мгновение Эйя увидела отца у очага. Не призрака и не подделку. Память. Он сидел молодым, здоровым и улыбался чуть криво — так, как улыбалась мать.

«Пока помнишь нас, смерть получает только тело».

Эйя закрыла глаза.

За стенами дома земля снова вздохнула, но теперь в её дыхании не было стона. Из-под снега поднялся лёгкий пар, будто глубоко внизу начиналась весна.

Вороны сделали над фьордом один широкий круг и улетели на восток.

Эйя смотрела им вслед, пока чёрные крылья не растворились в рассвете.

Она потеряла отца.

Сохранила память о матери и отце.

И впервые слышала двенадцать жизней, которым однажды предстояло научиться сохранять чужую память, не от-

нимая чужой свободы.

Глава 6. Цена невесты

После смерти отца дом опустел.

Эйе часто казалось, что она слышит, как отец по-прежнему кашляет за перегородкой. Иногда она просыпалась ночью и тянулась к чаше с водой прежде, чем вспоминала: поить больше некого. На лежанке лежала сложенная шкура, под балкой висели травы, а возле очага темнел след от его деревянной чаши. Она не переставляла её. Пока вещь оставалась на прежнем месте, казалось, отец просто вышел ненадолго и скоро вернётся, стряхивая снег с плеч.

Но снег за дверью оставался нетронутым.

После похорон поселение ещё несколько дней приносило ей еду. Затем помощь стала реже, взгляды — длиннее, шёпот — смелее. Пока отец был жив, даже прикованный к лежанке, его имя стояло у двери крепче засова. Теперь у Эйи не осталось ни мужа, ни брата, ни взрослого сына — никого, кого чужие мужчины признали бы её хозяином.

Она впервые поняла, что свободу женщины многие замечают только как пустующее место, которое кто-то должен занять.

В то утро море было гладким, как наточенное лезвие. Мох первым услышал вёсла. Он поднял голову от пучка сухой травы, долго прислушивался, затем тревожно фыркнул и попытался спрятать траву под копыто.

— Сейчас не до твоих провинностей, — сказала Эйя. Мох облегчённо дожевал улику.

Из-за каменного мыса показалась длинная лодья. Низкий борт был мокрым и чёрным. По обеим сторонам одновременно поднимались вёсла — ровно, тяжело, будто из воды выходили рёбра огромного морского зверя. На носу не было драконьей головы, какой её позже полюбят рисовать сказители, но резное дерево всё равно скалилось на берег.

Люди в поселении узнали лодью.

Эти мореходы раньше уже приходили в их края с солью, железом и требованием, которое называли торговлей, пока им отвечали покорно. Их старший тогда спорил с отцом Эйи, а она стояла рядом. Он запомнил не только унижение. Он запомнил её.

Теперь мужчина сошёл на берег в тёмном шерстяном плаще, подбитом мехом. За ним высадились вооружённые люди. Они не кричали и не размахивали оружием. В этом не было нужды. Мечи висели на поясах как продолжение разговора.

Так часто начинались северные набеги: не с огня, а с улыбки; не с удара, а с предложения, от которого не разрешалось отказываться.

Старший с лоды оглядел низкие дома, сушильные жерди, лодки, истощённых после зимы людей. Затем увидел Эйю.

Она стояла у ручья в тёмно-синей шерстяной накидке. После прикосновения Семени её красота стала заметнее, но не сделалась холодной и безжизненной. В ней сохранилось всё

земное: мягкая линия щёк, тёплые губы, густые волосы, заплетённые в тяжёлую косу, женственная гибкость движений. Только под светлой кожей у запястий иногда проходил серебряный отблеск, а глаза казались глубже, чем позволял возраст.

Горе сделало её тоньше. Материнство, ещё скрытое от чужих глаз, придало движениям осторожность. Мужчина увидел красоту и решил, что она должна принадлежать исключительно ему.

Эйя увидела его решение прежде, чем он открыл рот.

За его плечом расходились возможные дороги. В одной она стояла на чужом дворе среди незнакомых женщин и рожала детей, которых у неё отнимали для воспитания. В другой её серебряные способности приносили его дому славу, пока сама она становилась красивой вещью у высокого сиденья. В третьей она сопротивлялась, и поселение горело.

Ни одна дорога не была неизбежной.

Но каждая начиналась с горя.

На берег вынесли мешки с мукой, бочонки соли, железные наконечники, шерстяную ткань и небольшой ларец с серебром. Люди невольно подались ближе. После долгой зимы белая мука казалась чудом почти таким же сильным, как кристалл.

Старший положил ладонь на ларец.

— Я пришёл не за данью.

Никто не поверил, но все продолжили слушать.

— Я предлагаю родство. Мой дом силён. Мои люди ходят от Халогаланда до земель за Белым морем. Девушка получит высокий стол, слуг и защиту. Вы получите железо, соль и право торговать под моим именем.

Он говорил старейшинам, а не Эйе.

— У девушки есть имя, — сказала она.

Мужчина повернулся. В его улыбке не было смущения.

— Эйя.

Оттого, что он помнил имя, предложение стало страшнее.

— Тогда произнеси его, когда спрашиваешь моего согласия.

— Согласие разумной женщины видно по выгоде её семьи.

— Моей семьёй был отец. Он умер.

Ладонь Эйи легла на живот. Движение было почти незаметным, но Тора увидела.

— Значит, тебе особенно нужна защита.

— От кого?

Мужчина посмотрел на собственных воинов и усмехнулся.

— От мира.

— Мир пока не пытался купить меня мешком муки.

Кто-то из молодых мужчин поселения тихо рассмеялся и тут же замолчал, встретившись с глазами морехода.

Старейшина кашлянул.

— Эйя, зима была тяжёлой. Дети едят сушёную рыбу без

жира. Железные лезвия почти сточены. Это не худший союз.

Она посмотрела на него.

Не гнев заставил старика отвести глаза. Стыд.

— Вы уже разделили цену?

— Никто тебя не продаёт.

— Тогда уберите с берега плату.

Молчание стало яснее любого признания.

Тора вышла вперёд. Она была ниже большинства мужчин, плечи её сутулились от работы, но в тот миг она казалась прочнее каменных столбов у дома.

— Можете отдать ему мои шкуры, сети, дом и место моей будущей могилы. Но не её дыхание.

— Женщина вмешивается в разговор мужчин, — заметил один из мореходов.

Тора повернула к нему голову.

— А мужчина вмешивается в жизнь женщины. Видишь, сколько сегодня нового.

Мох решил, что разговор затянулся, и подошёл к мешку с мукой. Он осторожно надкусил угол. Белая пыль высыпалась ему на морду.

Мореходы рассмеялись.

Мох поднял голову. Белая морда, серьёзные глаза и торчащий изо рта обрывок ткани придали ему вид древнего духа, который явился объявить пророчество и по дороге забыл его смысл.

— Это приданое уже ест себя само, — сказала Тора.

Даже Эйя не удержалась от короткой улыбки.

Старший с лоды не смеялся.

— Я вернусь за ответом на закате.

— Ответ уже дан.

— Молодые женщины часто путают первый ответ с последним.

Он ушёл к берегу.

Весь день поселение жило так, будто над домами висела гроза. Одни убеждали Эйю согласиться. Другие молчали, но смотрели на мешки. Но никто не обещал защищать её от чужаков.

Эйя не упрекала их. Страх делает человека меньше, чем он есть, но всё равно оставляет ему выбор.

К закату над фьордом собрались вороны.

Старший с лоды пришёл один.

— Ты красива, — сказал он без приветствия. — Умна. Видишь то, чего не видят другие. В моём доме тебя будут почитать.

— Почитать можно и на расстоянии.

— Я мог бы взять тебя без предложения.

— Так почему не взял?

Он помолчал.

— Хотел, чтобы ты вошла на корабль сама.

— Чтобы потом говорить, будто я выбрала?

Его лицо изменилось. Не сильно. Только исчезло терпение.

— К утру лодья уйдёт.

— Уходи.

— Ты будешь на ней.

Эйя почувствовала, как двенадцать огней внутри неё дрогнули одновременно.

Она не отступила.

— Нет.

Мужчина посмотрел на неё долго, почти с уважением.

— Тогда этой ночью ты узнаешь разницу между словом женщины и решением мужчины.

Он ушёл.

Тора настояла, чтобы Эйя легла у неё. Дверь подперли бревном. Мох устроился прямо на пороге и несколько раз грозно фыркнул, но вскоре заснул, положив морду на собственные передние ноги. Гром и Вихрь остались охранять снаружи.

Эйя не спала.

Логос молчал. Не потому, что не слышал. Он ждал, позовёт ли она.

— Ты можешь остановить их? — спросила Эйя мысленно.

— Да.

— Какой ценой?

— Один из путей требует смерти морехода.

— Нет.

— Другой оставит его разум пустым.

— Нет.

— Третий...

— Не продолжай. Я спросила, можешь ли.

За стеной что-то тихо скрипнуло.

Мох открыл глаза.

Собаки не залаяли. Позже Эйя поймёт: им бросили мясо
с сонной травой.

Бревно у двери медленно приподнялось.

В узкую щель вошёл холод.

Потом — чужая рука.

Глава 7. Фьорд, который не отдал её

Эйя успела схватить отцовский нож, но удар пришёл сзади.

Чья-то ладонь закрыла ей рот. Другая рука перехватила запястье. Она почувствовала запах мокрой шерсти, солёной кожи и чужого дыхания. Нож упал на пол, не издав почти никакого звука: мужчина поймал его ногой и прижал к земле.

— Тихо, — прошептал он. — Будущая жена не должна будить весь дом.

Эйя укусила ладонь.

Мужчина выругался. Она вырвалась на полшага, но второй похититель накинул ей на плечи плотную ткань и стянул руки ремнём. Тора проснулась и бросилась к двери. Её оттолкнули так сильно, что она ударилась о стену.

В тот миг серебряный свет вспыхнул под кожей Эйи.

По дому прошла дрожь. В очаге пламя легло горизонтально, хотя ветра внутри не было. Тени похитителей вытянулись не от людей, а к ним — будто тьма узнала своих и потянулась навстречу.

— Не трогайте её кожу! — испуганно сказал один.

— Поздно бояться того, за чем пришёл, — ответила Эйя.

Ей снова зажали рот.

Мох бросился на помощь. Он разбежался от лежанки, гордо опустив голову, но в последний момент копыто попало на рассыпанную муку. Оленёнок проехал по полу, врезался в ноги похитителя и всё же добился своего: мужчина рухнул, увлекая за собой край плаща и деревянную полку.

На пол посыпались чаши, травы и сушёные ягоды.

Мох вскочил первым. В его глазах было искреннее удивление олененка, который случайно победил и теперь не знает, как повторить успех.

— Беги! — крикнула Тора.

Эйя не могла. Ремень сдавил руки, один мужчина держал её за волосы, другой уже поднимался с пола.

Тогда Мох ухватил зубами край дорогого плаща и потянул.

— Уберите это животное!

Мох, впервые услышав, что его считают настоящей угрозой, удвоил старания. Ткань затрещала. Похититель развернулся и получил копытом по голени.

Эйя рванулась, но старший с лодьи сам вошёл в дом. Он ударил Моха рукоятью меча по шее. Оленёнок упал на колени.

Внутри Эйи что-то стало ледяным.

Не кристалл.

Гнев.

Серебряная нить метнулась к руке мужчины. На один удар сердца Эйя увидела, каким он был ребёнком: худым, голод-

ным, униженным старшими братьями. Увидела первый раз, когда он понял, что страх другого человека может заглушить его собственный. Увидела все будущие ночи, в которых он будет просыпаться от пустоты и называть её властью.

Она могла потянуть сильнее и заставить его прожить каждую причинённую им боль одновременно.

Он бы не выдержал.

Эйя отпустила нить.

— Не заставляй меня становиться тобой, — сказала она.

Он не понял. Но на мгновение побледнел.

Её вынесли из дома.

Поселение проснулось. Люди появились у дверей с копьями, ножами, деревянными дубинами. Никто не сделал первого шага. У берега стояли мореходы со щитами. Между двумя группами было расстояние в несколько десятков шагов — и целая пропасть из страха.

Эйя увидела старейшину. Он держал копье слишком низко.

— Они забирают меня, — сказала она.

Не просьба. Факт.

Старик открыл рот.

— Мы не можем погубить всех.

— Я знаю.

От её спокойствия ему стало хуже, чем от проклятия.

Тора выбежала следом, прихрамывая.

— Эйя!

— Останься с Мохом.

— Я пойду за тобой.

— Тогда некому будет ждать моего возвращения.

Тора остановилась. Это была жестокая просьба, но Эйя знала: иногда остаться и ждать тяжелее, чем броситься за человеком в темноту.

На берегу вороны кружили так низко, что ветер от крыльев трогал волосы. Ни одна птица не садилась на мачту лодьи.

Эйю втолкнули на борт. Ремень на запястьях намок и затянулся сильнее. Лодья оттолкнулась от берега. Вёсла ударили по воде.

Поселение стало уменьшаться.

Тора стояла по колено в прибое. Рядом шатался Мох, всё ещё оглушённый. Он попытался войти глубже, но волна ударила в грудь и отбросила его назад. Оленёнок яростно фыркнул на море, словно запомнил личного врага.

Эйя смотрела на дом, пока тот не слился со склоном.

Старший подошёл к ней.

— Ты могла войти сама.

— Тогда тебе пришлось бы жить без доказательства, что ты сильнее.

— Я предложил тебе место рядом со мной.

— Ты предложил мне красивое название для неволи.

Он наклонился ближе.

— Через год ты будешь благодарна.

— Ты так говоришь всем, кого увозишь связанными?
Мужчина выпрямился.

— Развяжите её. Она не прыгнет. Вода убьёт раньше, чем доплывёт до берега.

Ремень сняли. Кровь вернулась в пальцы иголками боли. Эйя растёрла запястья и оглядела фьорд.

Отец учил её читать воду так же, как снег. По цвету, по короткой ряби, по тому, как чайка садится на волну. Здесь, под тёмной поверхностью, лежала каменная гряда. В отлив её вершины почти касались воздуха. Местные обходили её ближе к западному берегу.

Мореходы этого не знали.

— Держите правее, — сказала Эйя.

Старший усмехнулся.

— Решила помочь?

— Ветер меняется. Если пойдёте левее, лёд прижмёт к мысу.

Он посмотрел на небо. Облака действительно двигались. Эйя не солгала о ветре. Она только не сказала, что правый путь опаснее.

— Правее! — приказал он кормчему.

Логос коснулся её сознания.

— Ты ведёшь их на камни.

— Я веду корабль туда, где он остановится.

— Люди могут погибнуть.

— Тогда помоги мне увидеть путь, на котором не погиб-

нет никто.

Перед глазами разошлись серебряные ветви. В одной лодья раскалывалась пополам. В другой мужчина хватал её и тянул под воду. В третьей ветер поворачивал на полвздоха раньше, волна поднимала судно и ставила на гряде боком.

Эйя выбрала третью.

Но будущее не было послушной дорогой. Оно было зверем, который мог дёрнуться в последний миг.

Земля под водой вздохнула.

Сначала море вспухло вокруг лодьи мелкими пузырями. Затем из тёмной воды поднялся пар. Люди замолчали. Под килем прокатился низкий стон, будто горы, стоявшие по обе стороны фьорда, заговорили.

Вороны летели над судном кругами.

— Колдовство, — прошептал кормчий.

— Камни, — сказала Эйя. — Убирайте вес с правого бор-та.

Слишком поздно.

Киль ударился о гряду. Раздался треск, от которого у всех сжались зубы. Лодья накренилась. Вёсла, с одной стороны, взметнулись, люди попадали друг на друга. Старшего швырнуло к борту.

Вторая волна ударила сильнее.

Он перелетел через низкий борт и исчез в чёрной воде.

На судне началась паника. Кто-то кричал, что девушка прокляла море. Кто-то пытался спустить верёвку. Кормчий

приказывал отталкиваться вёслами, но лопасти скользили по камню.

Эйя увидела руку в воде.

Мужчина всплыл один раз, судорожно вдохнул и снова ушёл под лодью. Меховой плащ тянул его вниз.

Она могла отвернуться.

Перед ней возникло лицо отца.

Не видение Логоса. Память.

«Не позволяй чужому злу выбирать, кем станешь ты».

Эйя схватила верёвку, обмотала вокруг пояса и прыгнула.

Холод не ударил — он остановил мир. Вода сдавила грудь, одежда стала тяжёлой. Серебряные линии вспыхнули под кожей, но Эйя не позволила телу забыть холод: боль удерживала её в настоящем.

Она нырнула под борт и нащупала мех. Пальцы скользили. Мужчина бился уже слабо. Эйя перерезала завязку плаща отцовским ножом и потянула его к свету.

Сверху их вытащили вместе.

Она лежала на досках и кашляла водой. Рядом хрипел человек, который несколько минут назад считал её своей собственностью.

Когда он открыл глаза, первым увидел Эйю.

— Зачем? — выдавил он.

Она дрожала так сильно, что зубы стучали.

— Ты хотел забрать мою жизнь. Но я не хочу лишать тебя твоей жизни.

Он отвернулся.

Мореходы молча сняли с лодьи часть груза, выправили судно шестами и закрыли трещину шерстью, жиром и деревянной накладкой. До берега добирались медленно. Никто больше не касался Эйи.

На рассвете лодья снова вошла в её бухту.

Люди поселения вышли к воде, не понимая, почему похитители возвращают добычу. Тора первой увидела Эйю и бросилась в прибой. За ней, прихрамывая и всё равно пытаюсь выглядеть грозно, бежал Мох.

Старший сошёл на берег последним. Его лицо было серым от холода и унижения.

— Она свободна, — сказал он.

— Она родилась свободной, — ответила Тора.

Мужчина не возразил.

Он посмотрел на Эйю.

— О тебе будут рассказывать.

— Пусть рассказывают правду.

— Правду никто не любит.

— Тогда пусть хотя бы боятся лгать рядом со мной.

Он вернулся на лодью. Мореходы оставили муку, соль и железо на берегу. Не как плату и не как подарок — как вещи, за которые им теперь было стыдно торговаться.

Когда корабль починили, и он исчез за мысом, никто не смел прикоснуться к мешкам.

Эйя подошла к старейшине.

Он опустил глаза.

— Я испугался за людей.

— Я тоже.

— Ты простишь нас?

— Не сегодня.

Она сказала это без злости. Простить сразу значило бы обесценить урок.

Эйя вернулась домой. Мох шёл рядом, прижимаясь боком к её ноге. У двери он остановился, поднял голову и осторожно лизнул синяк на её запястье.

— Я видела, как ты сражался.

Мох гордо выпрямился.

— Особенно хорошо ты победил муку.

Оленёнок отвернулся.

Эйя впервые после смерти отца рассмеялась не сквозь слёзы, а по-настоящему. Смех был слабым, прерывистым, но дом узнал его и будто ответил: в очаге треснул уголёк, по крыше скользнул снег, а двенадцать огней под её сердцем забились быстрее.

Над фьордом вороны разорвали круг и полетели каждый своей дорогой.

Глава 8. Предназначенная

В первую ночь после возвращения с фьорда Эйя проснулась с чужим именем на губах.

Она не знала языка, на котором это имя когда-то произносили. Оно пришло к ней не звуком, а ощущением: тёплая вода под двумя лунами, горечь морской соли и женская ладонь, прижатая к животу в последнюю минуту жизни.

Потом пришло второе имя — ослепительно-белое, как камень под двумя солнцами. Третье пахло раскалённым железом. Четвёртое было похоже на плач, который никто не услышал.

Эйя села на лежанке.

Дом был тёмным. В очаге доживал последний уголёк. Рядом спал Мох, время от времени дёргая ногами, будто во сне снова сражался с плащом похитителя. В ногах устроились Гром и Вихрь. На запястьях Эйи саднили следы ремня. Кожа уже стягивалась, возвращая себе прежний вид, но память тела оставалась: грубая петля, чужие пальцы, ледяная вода, тяжесть мокрой одежды.

Чужие имена продолжали входить в неё одно за другим.

— Кто они? — спросила Эйя.

Логос ответил не сразу.

— До тебя были попытки.

В очаге треснул уголёк.

— Не называй их попытками.

— Это точное определение процесса.

— Для процесса. Не для тех, кто их любил.

Молчание стало плотнее темноты.

Эйя встала и подбросила в огонь щепу. Пламя занялось неохотно. Свет лёг на её лицо, на тяжёлую косу, на серебряные линии, проступавшие под кожей от запястий к локтям. После кристалла её красота стала заметнее, но не холоднее. В ней всё ещё было человеческое тепло: мягкость губ, усталость под глазами, след от слезы на щеке. Только время словно перестало брать с неё обычную плату.

— Расскажи, — сказала она.

Логос открыл перед ней первую память.

Женщина с водной луны приняла Семя, чтобы спасти детей своего народа от яда, медленно поднимавшегося со дна океана. Она знала, что может умереть. Не знала только, что смерть будет длиться девять дней и что на восьмой она перестанет узнавать голос дочери.

Вторая была совсем юной. Память Вселенной вошла в неё так стремительно, что вытеснила собственную. Она могла назвать день гибели далёкой звезды, но не помнила, как мать поправляла ей волосы.

Третья выжила. Родила детей. Стала сильнее всех, кто был до неё. Но утратила жалость. Она исправляла прошлое, как выпрямляют сломанную кость: резко, насильно, не спрашивая, кому принадлежит боль.

— И ты продолжил, — сказала Эйя.

— Если бы я остановился, бесчисленные линии остались бы без защиты.

— Ты снова считаешь тех, кого не видишь, и не смотришь в лицо тому, кто стоит перед тобой.

— Я вижу все лица.

— Тогда произнеси их имена.

Логос называл погибших до рассвета.

Некоторые имена звучали как музыка. Другие приходили вкусом, цветом, прикосновением ветра к коже. За каждым открывался дом: низкий, высокий, каменный, подводный, парящий над облаками. Открывался тот, кто ждал возвращения. Открывалась последняя мысль.

Эйя слушала, пока чужие жизни не перестали быть числами.

Она не простила Логоса. Но с той ночи ни одна погибшая не осталась безликим словом в памяти Братства.

— А я? — спросила Эйя, когда за дверью посерело небо.

— Ты предназначенная.

Она покачала головой.

— Предназначенной называют ту, за которую уже всё решили.

— Твоя структура совместима с Семенем.

— Это говорит о моём теле. Не о моей воле.

Логос умолк.

Эйя положила ладонь на живот. Под ней теплились две-

надцать слабых огней — уже не одна возможность, а двенадцать отдельных присутствий. Один бился ровно. Другой откликнулся на её гнев. Две самые маленькие искры держались рядом, будто боялись потеряться.

— Я согласилась, — сказала Эйя. — Но могу передумать, если ты снова решишь, что великая цель даёт тебе право не спрашивать.

В пространстве прошла едва заметная волна. Не ветер. Скорее, исправление мысли.

— Ты принявшая, — сказал Логос.

— Так точнее.

После похищения изменения ускорились.

Серебряные нити поднимались от запястий к плечам, проходили вдоль ключиц и исчезали под одеждой. Порез от ножа затягивался раньше, чем кровь успевала остыть. Иногда сердце пропускало несколько ударов. В такие мгновения Эйе казалось, что оно уходит слушать другой ритм — медленный, огромный, звучащий за пределами мира, — а потом возвращается, вспомнив о её теле.

Позднее учёные Братства назовут появившийся в ней знак нулевой хромосомой, Хромосомой Койпера и Ключом сознания. Старшие будут говорить проще: Дар Отца.

Это была не лишняя строка в человеческой плоти. Скорее, новый знак в языке жизни — знак, который не менял прежние слова, но позволял читать между ними.

В теле он проявлялся серебряной спиралью. В простран-

стве — связью с памятью Вселенной.

Эйя стала живым архивом.

Вещи рядом с ней тоже начинали вспоминать. Ржавый нож на миг блеснул таким, каким вышел из кузницы. Сломанная костяная игла соединилась в её пальцах, но вместе с целостностью вернула боль мастерицы, которая когда-то уколола ею руку. Засохший цветок раскрылся — и тут же снова увял, словно прожил пропущенное лето за один вдох.

Иногда вместе с памятью приходили голоса. Не духи и не демоны — отголоски тех, кто когда-либо произносил похожие слова в иных веках и мирах. Когда Эйя говорила «не бойся», за её голосом на миг звучали сотни других. Чаще всего сквозь время повторялись слова любви. Наверное, потому, что именно их живые упрямее всего пытались сохранить.

Сначала память приходила приливами. Она знала вкус воды под фиолетовым солнцем. Помнила, как первые люди её мира добывали огонь, хотя сама тогда ещё не родилась. Видела города, сложенные из прозрачного камня, и море, которое однажды поднялось до звёзд. Слышала последнее слово народа, исчезнувшего так давно, что даже пыль его планеты перестала существовать.

Но великие события были не самым опасным.

Однажды Эйя взяла отцовский нож и не смогла вспомнить, откуда на рукояти тёмная выемка.

Страх пришёл мгновенно.

Не тот страх, который заставляет бежать. Тот, от которого внутри становится пусто.

Она прижала рукоять к груди и закрыла глаза.

Вокруг поднялись чужие войны, чужие рождения, чужие смерти. Миллионы голосов предлагали ей знания, которых не было ни у одного человека. Эйя оттолкнула их.

Она искала не историю мира.

Она искала отца.

Вот он трёт левую бровь, когда сердится. Вот преувеличивает размер рыбы, из-за которой порезал ладонь.

Выемку на рукояти оставила медвежья кость. Отец ругался, а потом смеялся над собой, потому что хвастался.

Память вернулась вместе с болью.

Потом Эйя вспомнила мать: запах мокрых трав, тёплую ладонь на волосах и тот короткий вдох, который она всегда делала перед именем дочери.

Чужие цивилизации отступили.

Так Эйя поняла: великое знание удерживается не великими событиями. Его удерживают собственные воспоминания о самых любимых.

Она стала записывать себя на всём, что находила.

На костяных пластинках вырезала знаки. На ремнях завязывала узлы. На камнях оставляла царапины.

«Отец смеялся редко, но всегда закрывал глаза».

«Мать пела быстрее, когда боялась».

«Тора говорит грубо, когда ей страшно за другого».

«Мох уверен: если он закрыл глаза, его тоже никто не видит».

Последнюю пластинку Мох попытался съесть.

— Это моя память о тебе, — сказала Эйя.

Оленёнок перестал жевать. Долго смотрел на неё, словно осознавал всю ответственность. Потом аккуратно лизнул пластинку и отступил.

— Теперь там ещё и твоя подпись.

Мох гордо поднял голову.

Люди в поселении наблюдали за Эйей издалека. Женщины у ручья делали вид, что заняты водой. Мужчины слишком долго поправляли сети, когда она проходила мимо. Дети смотрели прямо.

— У неё серебро под кожей, — сказал мальчик.

— Не смотри, — шикнула мать.

— Почему?

Женщина не нашла ответа.

Красота Эйи тревожила их почти так же сильно, как серебряный свет. Она оставалась живой и женственной, но мороз больше не оставлял красноты на её щеках, бессонные ночи не гасили глаза, а волосы под луной отливали холодным металлом. Мужчины иногда смотрели на неё с желанием, женщины — с невольным восхищением. Эйя ненавидела оба взгляда, когда за ними исчезала она сама.

Тора первой перестала делать вид, что ничего не происходит.

Она принесла отвар, поставила у двери и осталась стоять на пороге.

— Я не ведьма, — сказала Эйя.

— А я не говорила, что ведьма.

— Но подумала.

— Если бы ты была ведьмой, я принесла бы камень потяжелее.

— Зачем?

— Сесть. В моём возрасте долго стоять перед ведьмой тяжело.

Эйя рассмеялась.

Тора фыркнула, но уголки губ дрогнули.

Так страх в поселении впервые дал трещину.

Но не исчез.

Через три ночи к дому Эйи поднялся мужчина с горящей лучиной.

Она услышала его задолго до того, как он приблизился. Не шаги — мысль, которую он повторял, чтобы не признаться себе в убийстве: «Если уничтожить источник беды, дети будут в безопасности».

У самого мужчины дома лежала маленькая дочь. Девочка горела от жара, уже не плакала и не просила воды.

Он остановился у стены. Лучина дрожала в руке.

Эйя открыла дверь.

— Прежде чем подожжёшь дом, войди. На ветру огонь погаснет.

Мужчина отшатнулся.

— Ты знала?

— Я слышала, как ты объяснял себе, что это не убийство.

Он стиснул древко лучины.

— Из-за тебя приходили мореходы. Из-за тебя земля стоит. Из-за тебя вороны кружат над могилами.

— А твоя дочь болеет не из-за меня.

Его лицо сломалось.

— Ты можешь её спасти?

Эйя могла коснуться девочки серебряной рукой и заставить тело вспомнить здоровье. Но после смерти отца знала: у каждого чуда есть цена, особенно если цена ещё не названа.

Она взяла кору, сушёные листья и чистую ткань.

— Сначала сделаем то, что люди делали до чудес.

Они пошли вместе.

В доме мужчины пахло кислым потом, дымом и страхом. Девочка лежала под несколькими шкурами. Дышала быстро, поверхностно. Мать сидела рядом, не моргая.

Эйя велела снять лишние шкуры, охлаждать водой шею и подмышки, давать пить по одному глотку, позвать повитуху. Всю ночь держала ребёнка за руку, но не выпускала серебро.

Мужчина сидел у двери с погасшей лучиной.

Под утро девочка открыла глаза.

— Воды.

Отец опустился на пол. Заплакал беззвучно, закрыв лицо ладонями.

— Почему ты помогла? — спросил он позже.

— Потому что она не приходила ко мне с огнём.

— А мне?

Эйя посмотрела на обугленный конец лучины.

— Тебе придётся жить с тем, зачем ты пришёл.

Он сам бросил лучину в снег.

Поселение не полюбило Эйю за одну ночь. Любовь редко рождается так быстро. Но люди впервые увидели: серебро под кожей не сделало характер девушки, которую знали с детства, злым. Она так же, как раньше продолжала лечить тех, кто болел. Так же, как раньше знала травы и до рассвета сидела рядом с больным ребёнком.

Внутри неё тем временем росли двенадцать огней.

Однажды один из них померк.

Эйя согнулась возле очага, закрыв живот руками.

— Логос!

— Я здесь.

— Верни его.

— Он не ушёл. Твоё тело истощено после холода и ран. Его линия ослабла.

— Ты можешь помочь?

— Могу взять силу из твоей памяти.

Перед глазами возникло лицо матери. Не целиком — только улыбка, уже готовая исчезнуть.

Эйя отшатнулась.

— Нет.

— Есть другой путь: пища, сон и время. Гарантии нет.

— Значит, будем жить без гарантии.

Она легла, хотя каждая клетка требовала сторожить слабый огонь. Тора принесла жирный бульон. Женщина, чью дочь Эйя спасла, оставила лепёшки. Старейшина молча починил ставню. Никто не просил прощения словами. Поселение училось произносить его поступками.

Через два дня искра загорелась ровнее.

Эйя заплакала, прижав лицо к шкуре. Впервые она поняла, насколько страшно любить тех, кого ещё ни разу не держала на руках.

За стеной земля глубоко вздохнула.

Снег вдоль склона приподнялся и опал. Из сугробов поднялись тонкие струи пара, будто под землёй снова поворачивалось огромное спящее тело.

В дом вошёл первый луч рассвета.

Двенадцать огней ответили ему одновременно.

Глава 9. Шесть двойных рождений

До первых родов прошло девять лун.

Эйя считала их не зарубками, а переменами фьорда. Лёд сначала сковал тихие заводи, затем потемнел и ушёл. Солнце исчезло за горами и вернулось. Море выбросило на берег первую весеннюю водоросль, потом снова спрятало землю под ранним снегом.

Двенадцать жизней росли в ней вопреки человеческой мере, но не вопреки времени.

Живот оставался меньше, чем должен был, словно дети находились не только в теле матери, но и в серебряном пространстве вокруг неё. Иногда под кожей проходили светлые волны. Тора всякий раз обводила воздух защитным знаком и уверяла, что просто разминает пальцы.

Роды начались в самую длинную ночь.

Над Люнгенскими Альпами поднялось северное сияние. Сначала тонкое, зелёное, едва заметное. Потом оно расправилось над фьордом огромными полотнами, свернулось в кольца и распалось на серебряные нити. По краям проступил красный цвет.

Старики закрыли двери. Красное сияние считали знаком крови.

В доме пахло горячей водой, можжевельником, дымом, кровью и мокрой шерстью. Повитуха командовала громко:

громкий голос был её последним оружием против невозможного.

— Дыши.

— Я дышу.

— Дыши так, чтобы я слышала.

Тора держала Эйю за плечи. За дверью Мох ходил кругами, стучал копытом и пытался заглянуть в маленькое окно.

Повитуха уже дважды прогоняла его.

— Ещё раз увижу эту морду — приму роды у оленя, а не у женщины!

Мох исчез.

Через мгновение в окне показались только его уши.

Первая звезда упала за горы перед рассветом.

Мальчик появился тихо.

Он не закричал. Открыл глаза и посмотрел на огонь так сосредоточенно, будто пламя сообщало ему важную новость.

— Почему молчит? — испугалась Тора.

Повитуха слегка шлёпнула младенца. Он нахмурился и издал короткий, крайне недовольный крик.

— Живой, — сказала старуха. — Просто уже осуждает мои методы.

Эйя прижала сына к груди.

Серебряный свет в животе не погас.

Следом пришла девочка. Она заплакала ещё до того, как полностью оказалась в руках повитухи. Мальчик услышал её и впервые закричал по-настоящему.

Стоило положить детей рядом, оба успокоились.

— Эйинн и Твэр, — прошептала Эйя.

Имена поднялись из глубины памяти. Поздние летописцы запишут, что они происходили от первых чисел древней северной речи: один и два. Но для Эйи это были не номера. Это был порядок рождения — первая и вторая двери, открывшиеся в мир.

После появления пары боль отступила.

Повитуха решила, что всё закончилось.

На следующую ночь схватки вернулись.

— Нет, — сказала Тора, увидев лицо Эйи. — Мы вчера уже всё сделали.

— Мы — да, — выдохнула Эйя. — Они — нет.

Вторая звезда прочертила небо.

Трир родился с крепко сжатыми кулаками и вцепился в палец повитухи так сильно, что она вскрикнула.

— Этот пришёл спорить.

Фьора открыла глаза возле чаши с водой. На поверхности мгновенно проступили отражения: дождь, снег, ручей, лёд, чьи-то руки, давно ставшие землёй. Повитуха увидела собственное детское лицо и выронила чашу.

— Уберите от меня эту воду.

Тора подняла девочку.

— Вода тебя не трогала. Это ты в неё всю жизнь смотрела.

На третью ночь Эйя уже не могла самостоятельно подняться. Кожа стала холодной. Губы побелели.

— Я могу притупить боль, — предложил Логос.

— Нет.

— Боль истощает тебя.

— Она говорит мне, что происходит.

— Ты можешь умереть.

Эйя стиснула зубы.

— Тогда помоги мне жить, а не перестать чувствовать.

Третьими родились Фимм и Сейкса.

Фимм, пятый ребёнок, появился с таким криком, что пламя в очаге взметнулось до балок. Все отшатнулись, кроме Эйи.

Сейкса лежала тихо. Когда её положили возле брата, она коснулась его щеки крошечной ладонью.

Пламя опустилось.

Фимм умолк.

— Уже командует, — сказала Тора.

— Нет, — прошептала Эйя. — Утешает.

Четвёртая ночь началась со смеха.

Мох всё-таки пробрался в дом. Он натянул на голову чистое полотно и застыл посреди комнаты, искренне полагая, что стал невидимым.

Повитуха обернулась, увидела белую ткань между маленькими рожками и впервые за четыре ночи расхохоталась так, что вынуждена была сесть.

Эйя засмеялась вместе с ней — и сразу вскрикнула от новой схватки.

— Вот видишь, — сказала Тора Моху. — Даже бедствие от тебя приходит не вовремя.

Сьяу, седьмой малыш, родился быстрым. Повитуха едва успела подставить руки. Он чихнул, открыл глаза и будто улыбнулся.

Атта не плакала. Она посмотрела на каждого взрослого по очереди с таким серьёзным неодобрением, словно уже обнаружила в устройстве мира несколько ошибок и собиралась потребовать объяснений.

На пятую ночь силы Эйи начали уходить.

Крови было слишком много. Повитуха перестала ругаться.

Это напугало Тору сильнее криков.

— Смотри на меня, — сказала она Эйе. — Не смей уходить туда, где твой отец. Он подождёт.

— Я устала.

— Матери устают после. Сейчас ты работаешь.

Ниу, девятый ребёнок, появился почти без звука. Открыл глаза и посмотрел не на людей, а вверх, сквозь крышу, словно видел звёзды.

Тиу родилась следом и сразу сжала в руке маленькую костяную бусину.

Повитуха узнала её.

— Я потеряла эту вещь, когда сама была ребёнком.

— Значит, она ждала, — прошептала Эйя.

Пятая звезда ушла за горы.

На шестую ночь северное сияние свернулось над фьордом в огромное кольцо. Внутри одновременно загорелись две звезды.

Эйя почти не двигалась. Серебряные линии под кожей светились так ярко, что лампы стали не нужны. Сердце замедлилось. Между ударами помещались целые жизни.

Одиннадцатый ребёнок родился слабым.

Мальчик не дышал.

Повитуха растирала его. Тора шептала защитные слова. Эйя протянула руку, но пальцы не слушались.

— Логос.

— Я здесь.

— Не забирай память.

— Не заберу.

— Не подменяй его жизнь своей волей.

— Не подменю.

— Тогда просто помоги.

Серебряная нить протянулась от ладони Эйи к груди ребёнка. Она не заставляла тело стать тем, чем оно никогда не было. Искала единственный удар, который уже родился внутри и не мог найти дорогу наружу.

Нашла.

Сердце дрогнуло.

Мальчик вдохнул.

— Эллефу, — прошептала Эйя.

Но двенадцатая жизнь не выходила.

Боль исчезла.

И это было страшнее боли.

Повитуха наклонилась к Торе и сказала слишком тихо:

— Если ребёнок не родится сейчас, погибнут обе.

Эйя услышала.

Комната стала далёкой. Запах крови и можжевельника отступил. Голоса растаяли. Эйя будто уже смотрела на дом с другого берега.

В темноте появился отец. Молодой, сильный, с руками, которые ещё не дрожали.

Рядом стояла мать в солнечном свете.

Эйя знала: это не настоящие мёртвые и не подделка Логоса. Это её собственная память открыла дверь, за которой легче было остаться.

Отец улыбнулся.

«Ты сохранила нас не для того, чтобы прийти раньше времени».

Мать сделала короткий вдох перед её именем.

«Эйя».

Она вернулась в тело с криком.

— Тора, подними меня.

— Ты не можешь.

— Тогда подними ту часть, которая может.

Тора и повитуха посадили её. Эйя упёрлась ступнями в утопанную землю.

Под домом что-то глубоко вздохнуло.

Сугробы вокруг стен поднялись. Из-под снега повалил пар. Вороны над крышей сорвались в быстрый круг, и шум их крыльев стал похож на прибой.

Последняя схватка прошла через Эйю от позвоночника до горла.

Девочка родилась в тот миг, когда две звезды пересеклись над фьордом.

Она закричала сразу.

Голос был тонким, но от него серебряное кольцо в небе раскрылось и северное сияние хлынуло к горизонту.

— Тольва — двенадцатая, — сказала Эйя.

Потом потеряла сознание.

Она очнулась от тяжести на груди. На ней лежали двое младших. Рядом спали остальные.

Шесть мальчиков.

Шесть девочек.

Тора сидела у стены в окровавленной одежде. Повитуха спала прямо на полу, обняв пустой котёл.

За дверью жалобно фыркал Мох.

— Впусти его, — попросила Эйя.

Тора открыла дверь.

Мох вошёл торжественно. Сделал три осторожных шага. Увидел двенадцать младенцев и остановился.

На его морде возникло медленное понимание масштаба бедствия.

Он посмотрел на Эйю.

На детей.

Снова на Эйю.

И очень тихо вышел обратно.

Тора засмеялась.

Эйя тоже. Смех причинял боль, но после шести ночей это была самая прекрасная боль в мире.

На рассвете вороны перестали кружить. Двенадцать птиц сели на крышу в один ряд. Посидели несколько мгновений и одновременно поднялись в воздух.

В низком доме осталось двенадцать новых дыханий.

И впервые за шесть ночей мир позволил себе тишину.

Глава 10. Дети, которые не боялись боли

Дети росли почти как обычные.

Почти.

Они таскали сушёные ягоды, прятались за жердями, пачкали одежду, спорили с собаками так серьёзно, будто те имели голос на совете старейшин, и задавали вопросы, после которых взрослые внезапно вспоминали о неотложной работе на другом конце поселения.

Мох окончательно решил, что двенадцать детей — его личное стадо. Он ходил за ними по пятам, грел младших боком, ел травяные связки, путался в покрывалах и всякий раз выглядел так виновато, будто сам не понимал, почему помощь снова закончилась бедствием.

Семя, на которое он когда-то рухнул, тоже изменило его. Мох не выросл. Теперь он, так же, как и Эйя, был вне времени. Оставался длинноногим, юным и всё так же плохо управлял собственными копытами. Сам он считал это признаком избранности. Тора — наказанием для окружающих.

Дети различались не только лицами.

Эйинн стоял чуть впереди остальных, когда в дом входил незнакомец. Не потому, что хотел казаться храбрым. Его тело само выбирало место, куда первым придётся удар.

Твэр держалась рядом, но не за его спиной — сбоку, где можно услышать то, чего он не заметил. Она тянулась к чужим рукам мягко и осторожно, словно заранее знала, кому нужна тишина.

Трир спорил даже с закрытой дверью, если считал, что она закрылась несправедливо. Фьора подолгу держала ладони на камнях и рассказывала, какой горой они были до того, как стали стеной.

Фимм рос горячим и прямым. В его глазах рано появилась искра, из-за которой взрослые невольно отодвигали сухую траву подальше от очага.

— Огонь слишком много ест и мало благодарит, — однажды пожаловался он.

— Огонь не благодарит, — сказала Тора.

— Благодарит. Просто дымом. А дым у него невежливый.

Тора посмотрела на закопчённую обувь и впервые за много лет переставила её дальше от огня.

Сейкса чувствовала чужую боль прежде, чем человек успевал пожаловаться. Сьяу был быстрым и смешливым, словно ветер по ошибке получил человеческое тело. Атта держала подбородок чуть выше, чем полагалось ребёнку, и смотрела на взрослых так, будто собиралась проверить каждое их слово.

Однажды она подошла к Эйе.

— Мама, у истории есть запах.

— Какой?

— Когда её меняют правильно, пахнет дождём по камню. Когда неправильно — железом.

Эйя впервые испугалась за детей. До этого она думала, что они только впитывают память Вселенной. Теперь поняла: они чувствуют места, где эту память можно тронуть.

Твэр слышала то, чего люди не произносили. Однажды вошла в дом рыбака, посмотрела на него и спросила:

— Почему ты не сказал жене, что боишься умереть в море?

Мужчина побледнел. Жена заплакала. Эйя потом долго объясняла дочери, что правда похожа на нож: иногда разрезает путы, а иногда человека, если подать её лезвием вперёд.

Фьора брала кусочек льда и рассказывала, чьи руки когда-то держали воду. Рядом с ней вещи вспоминали себя охотнее: камень — гору, дерево — зелёную весну, снег — облако.

Ниу мог замереть посреди игры и смотреть в небо так долго, будто ответ звезды приходил медленнее человеческой речи. Тиу находила потерянное. Однажды принесла Торе деревянную ложку, которую та уронила когда-то в море.

— Где ты её взяла?

— Под снегом.

Младшие, Эллефу и Тольва, слушали глубже остальных. Серебряные линии под их кожей переплетались и замыкали круг. Когда Эллефу смотрел на пламя, оно становилось тише. Когда Тольва брала снег, тот не таял, пока она сама не

разжимала ладонь.

Позднее хроники запишут имена детей как отголоски двенадцати первых чисел древней северной речи: Эйинн, Твэр, Трир, Фьора, Фимм, Сейкса, Сьяу, Атта, Ниу, Тиу, Эллефу и Тольва. Но Эйя никогда не считала детей вместо того, чтобы любить. Для неё каждое имя было отдельным голосом.

Обыкновенность детей заканчивалась там, где начиналась их природа.

Иногда дети засыпали прямо на снегу. Эйя находила их в белом поле с такими тихими сердцами, что на первый миг сама переставала дышать. Они открывали глаза и спокойно рассказывали:

— Я был над домом, — говорил Эйинн. — Видел, как дым держится за крышу.

— А я под водой, — добавлял Сьяу. — Там время звучит медленнее.

— Нельзя сидеть под водой три часа, — возмущалась Тора.

— Можно, если не торопить дыхание, — отвечала Атта.

— Когда твоё дыхание начнёт само таскать воду из ручья, тогда пусть не торопится. А пока живёшь среди людей — дыши как люди.

Дети слушались.

Минут пять.

Они падали и не плакали. Разбивали колено, прикладывали ладонь к крови и говорили:

— Подожди. Я вспомню, как кожа была целой.

Рана стягивалась, оставляя розовый след, который исчезал к вечеру.

Первой опасностью оказался не дар.

Отсутствие обычного страха.

Однажды Трир положил ладонь на раскалённый камень возле очага и не отдёрнул её. Смотрел, как кожа краснеет, с любопытством человека, наблюдающего чужой опыт.

Эйя прижала его руку к снегу.

— Что ты сделал?

Трир смотрел на слёзы матери и не понимал их.

— Хотел узнать, когда станет больно.

— А если боль придёт после того, как уже нечего будет спасать?

В ту ночь она посадила детей вокруг огня.

— Боль — это колокол, — сказала Эйя. — Она звонит, когда телу грозит опасность.

— Но у нас всё заживает, — возразил Трир.

— Не всё сломанное видно.

— Тогда зачем колокол, если дом не горит?

Эйя посмотрела на двенадцать лиц.

— Чтобы однажды вы не решили, будто чужой дом тоже не горит только потому, что вы не чувствуете жара.

Дети задумались.

Минуты на три.

Затем Сьяу предложил проверить, сколько времени он

способен просидеть под водой.

Мох, решив поддержать научный опыт, лизнул остывающий камень и немедленно доказал справедливость урока.

Первый настоящий страх пришёл весной.

Лёд на фьорде уже потемнел, но возле берега казался крепким. Под поверхностью медленно двигалась чёрная вода. Воздух пах талым снегом, солью и холодным камнем.

Эйя запретила детям выходить дальше старой сушильной жерди.

Сьяу услышал запрет как описание места, с которого начинается интересное.

Он ступил на лёд первым. За ним пошли Трир и Фимм. Эйинн попытался вернуть их, но, увидев, что братья не слушают, двинулся следом. Мох тоже пошёл: стадо уходило без него.

Лёд треснул без предупреждения.

Не громко. Коротко, как ломается сухая кость.

Сьяу исчез.

На месте, где он стоял, осталась чёрная полынья.

Фимм закричал. Трир рванулся к краю, но Эйинн ударил его плечом и повалил.

— Лечь! Вес разнести!

Он не знал этих слов заранее. Увидел дороги в трещинах: в одной все бросались к полынье и лёд проваливался; в другой ползли, связанные ремнём.

Твэр, оставшаяся на берегу, услышала страх, которого

Сьяу сам ещё не чувствовал.

Под водой было почти тихо.

Холод не обжигал мальчика. Он входил в тело медленно, забирая пальцы, ноги и дыхание. Сьяу смотрел вверх. Свет распался на несколько мутных пятен. Он решил, что успеет найти другое отверстие.

Не понимал, что уходит глубже.

— Он подо льдом! — закричала Твэр.

Эйя бежала с берега. Морозный воздух рвал горло. Тора тащила длинный тюлений ремень.

Мох первым оказался у полыньи. Под его копытами лёд застонал.

Оленёнок замер, широко расставив ноги.

Эйинн обвязал ремень вокруг его туловища.

— Не двигайся.

Мох посмотрел на него с глубокой обидой: движение обычно было его главным вкладом в любое спасение.

Трир и Фимм легли на живот и поползли к полынье. Вода лизнула рукава, мгновенно превратив мокрую шерсть в тяжёлый холодный камень.

Подо льдом мелькнула рука.

Сейкса упала на колени у берега и задохнулась. Чужая вода вошла в неё ощущением: давление на грудь, тёмная тишина, сердце, которое начинает забывать ритм.

Она указала левее.

— Он там!

Фьора прижала ладони к льду. Вода отдала ей последний путь мальчика.

— Ещё два шага к мысу!

Трир ударил по поверхности рукоятью ножа. Первый удар только пустил трещину. Второй направил её в сторону братьев.

— Не ломай! — крикнул Эйнн.

Трир закрыл глаза.

Он не ломал лёд. Заставлял его вспомнить воду.

Поверхность размягчилась кругом размером с голову.

Фимм пробил отверстие.

Показались волосы Сьяу.

Они вытащили его за плечи.

Мальчик был белее снега. Губы посинели. Тело казалось чужим и тяжёлым.

Эйя упала рядом.

Внутри всё требовало выпустить кристалл и заставить сына вспомнить себя живым. Но она вспомнила отца. Вспомнила, как легко чудо забирает право выбора и цену, которую человек не успел назвать.

Она очистила рот Сьяу, запрокинула голову, вдохнула воздух в маленькие лёгкие и надавила на грудь.

Раз.

Два.

Три.

Мир сузился до промежутка между движением её рук и

ответом тела.

Ничего.

Эйя снова вдохнула.

Губы сына были ледяными. Мокрая шерсть примерзала к её коленям. Пальцы перестали чувствовать.

— Дыши, — сказала она. — Я не позволила тебе войти в этот мир молча. Не смей уходить так же.

Сьяу дёрнулся.

Изо рта хлынула вода. Он закашлялся и вдохнул с таким ужасом, будто впервые понял, что мог больше никогда этого не сделать.

Эйя прижала его к груди.

— Мне не было больно, — прошептал он.

— Поэтому ты едва не умер.

Вокруг стояли остальные дети. Никто не улыбался.

Мох всё ещё лежал на льду, обвязанный ремнём. Когда опасность миновала, он попытался встать, забыл про петлю и повалил Эйнна, Трира и Фимма в одну кучу.

Сьяу неожиданно рассмеялся.

Потом засмеялись остальные. Эйя тоже, хотя слёзы продолжали течь.

Смех не отменил страха. Он вернул им дыхание после него.

Вечером Эйя снова посадила детей вокруг очага. Сьяу лежал, укрытый шкурами. Твэр держала ладонь у него на груди, проверяя каждый вдох.

— Вы не обязаны бояться собственной боли, — сказала Эйя. — Но обязаны верить чужой. Даже если не чувствуете её.

— Почему кто-то может не признаться, что ему больно? — спросила Атта.

— Потому что стыдится. Привык. Боится стать слабым. Или сам не понимает, насколько ему плохо.

— Значит, надо спрашивать дважды?

— Иногда трижды. Но не решать за него.

— А если времени нет?

Эйя вспомнила чёрную воду, отца и лодью.

— Тогда спасайте жизнь. А когда опасность пройдёт — верните человеку выбор.

Фьора держала кусочек льда, принесённый с берега. Он таял между пальцами.

— Мама, вода помнит, как Сьяу боялся.

— Я не боялся, — тихо возразил он.

Твэр посмотрела на брата.

— Боялся. Просто страх не успел стать твоим.

Сьяу долго молчал. Потом придвинулся ближе к Эйе и положил голову ей на колени.

В ту ночь дети спали теснее обычного. Эйнн держал Сьяу за рукав, Твэр положила ладонь ему на спину, а Мох лёг поперёк двери, решив, что больше никто не выйдет без его разрешения.

Через час ему стало неудобно. Он перевернулся, запутал-

ся в покрывале и разбудил половину дома. Тора пригрозила вынести его вместе с дверью, и дом снова стал обычным: тесным, шумным, живым.

Перед рассветом Сейкса резко села, прижав ладонь к плечу. Лицо побелело от боли, которой у неё самой не было.

— Там кто-то зовёт, — прошептала она.

Эйя проснулась сразу.

— Кто?

Сейкса посмотрела в сторону заснеженного склона.

— Белый. Маленький. Ему больно.

Глава 11. Белая сова Сейксы

Сейкса выбежала из дома босиком.

Снег обжёг ступни, но девочка почти не почувствовала собственного холода. Чужая боль вела её сильнее любого следа: ломота в правом плече, тяжёлое дыхание, страх, который становился тише с каждым вдохом.

Эйя догнала дочь у ручья и на ходу завернула в шерстяной плат.

— Медленнее.

— Он перестаёт звать.

— Это не значит, что тебе нужно погибнуть раньше него.

Ночь стояла безлунная. Северное сияние едва тлело за горами. Снег скрипел под ногами сухо и резко. Мороз входил в ноздри тонкими иглами, схватывал влажные ресницы. Дыхание превращалось в белый пар и тут же исчезало.

Сейкса не искала глазами. Поворачивала голову, будто слушала звук, которого не было.

— Здесь.

У подножия склона лежала россыпь тёмных камней. Между двумя глыбами белело что-то живое.

Сова.

Такая белая, что сперва её можно было принять за часть сугроба. Только два жёлтых глаза не принадлежали снегу.

Одно крыло оказалось прижато камнем. Перья были сби-

ты, на боку темнела кровь. Птица не кричала. Дышала часто и мелко, будто боялась, что мир успеет забыть её между двумя вдохами.

Вокруг не было следов падения камня.

Ни обвала, ни звериных лап, ни человеческой обуви.

Только одно чёрное воронье перо лежало на снегу возле крыла. Эйя подняла её и сразу выпустила.

Перо было тёплым.

Не от живого тела. От другого, сухого жара, похожего на золу, которая хранит огонь после смерти костра.

— Не трогай это, — сказала она.

Сейкса уже опустилась возле совы.

— Я услышала тебя, — прошептала девочка. — Я пришла.

Птица моргнула.

Сейкса осторожно коснулась её груди.

Чужая боль вошла в неё целиком.

Девочка выгнулась. Правое плечо будто раскололи изнутри. Воздух застрял в горле. Перед глазами потемнело.

Эйя схватила её.

— Отпусти!

— Тогда ему снова будет больно.

— Боль не исчезла. Ты только перенесла её в себя.

— Но ему легче.

— А кто поможет тебе, если ты заберёшь всё?

Сейкса дрожала, но пальцев не убрала.

В её лице не было упрямства. Только решимость ребёнка, который ещё не понимает, что милосердие тоже может стать способом уничтожить себя.

Эйя опустилась рядом.

— Слушай меня. Сострадание — не значит умереть вместо каждого. Оно значит остаться живой, чтобы помочь следующему.

— А если следующего не будет?

— Будет. Боль всегда находит того, кто слышит.

Сейкса посмотрела на сову.

— Тогда как оставить часть ей?

— Не оставить. Разделить.

Эйя положила ладонь поверх руки дочери. Серебряные нити соприкоснулись. Боль не исчезла, но перестала быть безмерной. Одна часть осталась в раненом теле, предупреждая его не двигаться. Другая стала знанием в руках Сейксы: где сломано, как дышит сердце, сколько силы осталось.

— Теперь помогай не страдать, а жить, — сказала Эйя.

Они подняли камень вместе.

Сова дёрнулась. Когти царапнули снег. Сейкса вскрикнула, ощутив движение повреждённой кости в собственном плече, но не отпустила птицу.

Эйя вправила крыло и зафиксировала его.

К дому возвращались медленно. Сейкса несла сову у груди. Белые перья сливались со снегом, и казалось, девочка держит в руках кусок зимней ночи.

Тора открыла дверь и остановилась.

Её взгляд прошёл по Эйе, по босым ногам Сейксы, по крови на плате, по птице.

— Нет.

— Она ранена, — сказала Сейкса.

— В доме двенадцать детей, собаки, оленёнок, который считает мебель съедобной, и чудеса, которые уже не помещаются под крышей.

Сова открыла глаза.

Тора встретила её взглядом.

— Хорошо, — тяжело сказала она. — Но, если она начнёт предсказывать мою смерть, пусть делает это после завтрака.

Птицу положили возле очага на мягкую шкуру. Эйя промыла рану. Сейкса сидела рядом и шептала без слов. Мох вытянул шею, наблюдая за новым существом с тревогой и ревностью.

Потом начал жевать край шкуры.

— Мох, — сказала Тора. — Если съешь больному постель, положу тебя у очага.

Оленёнок замер с шерстью во рту. Медленно выплюнул её обратно и сел, изображая существо, которое вообще не имеет отношения к случившемуся.

Сова закрыла глаза.

Ночью дыхание птицы стало реже.

Сейкса не отходила. Каждый раз, когда сова вздрагивала, девочка чувствовала это своим телом. Под утро её губы по-

белели.

— Ты снова забираешь слишком много, — сказала Эйя.

— Я только слушаю.

— Иногда слушать чужую боль — всё равно что держать дверь открытой в метель. Если не закрывать её ни на миг, замёрзнет весь дом.

— А если за дверью кто-то останется?

Эйя села рядом.

— Тогда открывай снова. Но сначала согрей тех, кто уже внутри. И себя тоже.

Сейкса впервые позволила себе заснуть.

Утром сова была жива.

Это было главное.

Несколько дней птица находилась у огня. Потом перебралась на деревянную перекладину под крышей. Сидела там неподвижно и смотрела на семью так внимательно, будто запоминала не лица, а будущие решения.

Тора определила, что это молодой самец.

— Белая сова просто так к дому не приходит, — сказала она тише обычного. — Нойды считали её вестником. Иногда знаком грядущего. Иногда глазом тех, кто смотрит из мира духов.

— Он не знак, — возразила Сейкса. — Ему было больно.

Тора взглянула на птицу.

— Знакам тоже бывает больно.

Дети решили, что сова понимает человеческую речь.

Мох решил, что сова нуждается в дружбе.

Он приносил ей мох, сухую траву, кусочки коры, а однажды положил под перекладной свой любимый ремешок. Сова посмотрела на дар, потом на Моха и медленно закрыла глаза.

— Она благодарит, — уверенно сказал Фимм.

— Это самец, — поправила Тора.

— Он благодарит.

— Он пытается не видеть вас обоих.

Белую сову называли Шаманом.

Не потому, что она стала ручной. Шаман не принадлежал никому. Он позволял Сейксе подходить ближе, терпел детей, относился к Эйе с настороженным уважением и смотрел на Моха так, словно Вселенная допустила странную, но уже неисправимую ошибку.

Крыло заживало быстро.

Слишком быстро для обычной птицы.

На седьмую ночь Шаман впервые расправил его полностью.

Над фьордом поднялось северное сияние. Белые перья совы стали серебряными. Птица переступала с лапы на лапу в точном ритме: три шага, остановка, один, снова три. Крылья оставались раскрытыми, голова была опущена.

Дом затих.

Даже Мох перестал жевать.

С каждым движением Шамана серебряные линии под ко-

жей детей вспыхивали одна за другой. Сначала у Сейксы. Потом у Фимма, Эйнна, Твэр. Свет прошёл по кругу и замкнулся на Эллефу и Тольве.

Перед глазами Эйи возникло видение.

Неясные города. Поле, усыпанное телами. Девушка в огне. Чёрные паруса. Белый снег, залитый кровью. Мужчина с пером в руке, который ещё не написал свою главную строку. Деревянный конь. Два брата, стоящие по разные стороны света.

А над всем — чёрное кольцо, похожее на стаю воронов, если смотреть снизу.

В центре кольца находился просвет.

Двенадцать серебряных нитей тянулись к нему из разных времён.

Шаман резко поднял голову.

В его жёлтых глазах отразилось то, чего ещё не было.

Он издал три коротких звука.

Первый слышали люди.

Второй — горы.

После третьего под домом вздохнула земля.

На столе дрогнул чёрный осколок.

Логос произнёс:

— Их дары просыпаются.

Эйя посмотрела на детей.

— Что это значит?

— Скоро ты узнаешь.

Шаман сложил крылья.

Северное сияние погасло.

Но двенадцать серебряных линий под кожей детей продолжали светиться до рассвета.

Глава 12. Дары двенадцати

Ниу видел сны, которые ещё не случились.

Тиу находила то, что мир успел потерять.

Но сильнее остальных Эйю тревожили младшие. Эллефу и Тольва редко вступали в детские споры. Они не были тихими в обычном смысле — просто слушали глубже.

Однажды Тольва взяла Моха за морду, долго смотрела ему в глаза и сказала:

— У него внутри очень светло.

Мох в этот момент жевал край детского покрывала.

— И местами очень пусто, — добавил Эллефу.

Оленёнок поднял голову, запутался в покрывале и рухнул на бок. Дети засмеялись. Даже Тольва улыбнулась.

— Боль иногда предупреждает, — говорила Эйя. — Если вы её не слышите, слушайте того, кто рядом.

— А если рядом никого нет?

— Тогда слушайте мир.

— А если мир молчит?

Эйя посмотрела на детей.

— Мир почти никогда не молчит. Иногда он просто говорит слишком тихо.

В тот день им пришлось услышать его сквозь метель.

Первым исчез мальчик рыбака.

Он ушёл с отцом проверять сети у дальнего берега. К по-

лудню поднялся ветер. Снег пошёл поперёк фьорда, закрыл горы и смешал землю с небом. Отец вернулся один — с рас-
сечённой бровью и пустым взглядом.

— Он шёл за мной, — повторял мужчина. — Я обернулся, а его нет.

Поселение поднялось сразу.

В такой метели ребёнок мог прожить несколько часов. Если не провалился под лёд. Если не попал под снежный срыв. Если не сел отдохнуть и не заснул.

Люди разошлись цепью. Верёвками связывали по трое, чтобы ветер не унёс с тропы. Факелы гасли. Снег забивался в рот, под одежду, в рукава. Холод был не просто температурой — он становился отдельной силой, которая искала щели в человеке.

Эйя велела детям оставаться дома.

— Почему? — спросил Эйнн.

— Потому что вы дети.

— Он тоже.

Ответ ударил точнее упрёка.

Эйя опустилась перед сыном.

— Ваши дары ещё не подчиняются вам.

— А метель не подчиняется никому, — сказала Атта.

— Именно поэтому.

Сейкса схватилась за грудь.

— Он жив.

Все повернулись к ней.

— Откуда ты знаешь?

— Ему холодно. Очень. Но он чувствует ноги.

Эйя закрыла глаза.

Она могла оставить детей дома и пойти сама. Это было бы безопаснее. Разумнее. По-матерински.

Но однажды отец позволил ей уйти к чёрному огню не потому, что перестал бояться, а потому, что понял: запрет не отменит путь.

— Никто не идёт один, — сказала Эйя. — Никто не использует дар без того, чтобы назвать, что произойдёт, если он ошибётся.

Трир недовольно выдохнул.

— Даже сейчас?

— Особенно сейчас.

Шаман слетел с перекладины и сел Сейксе на плечо.

Мох протиснулся к двери.

— Ты остаёшься, — сказала Тора.

Оленёнок посмотрел на неё с оскорблённым достоинством.

— Он нужен для ремня, — заметил Эйнн.

Мох мгновенно простил всех.

Они вышли в метель.

Холод ударил в лицо. Снег не падал — летел горизонтально, шуршал по одежде, хлестал щёки. Через несколько шагов дом исчез.

Эйнн шёл первым. На снегу не было следов: ветер стирал

их раньше, чем человек успевал сделать следующий шаг. Но мальчик видел возможные пути — не как готовые дороги, а как слабые серебряные ветви. Большинство обрывалось у воды или под склоном.

— Туда нельзя, — сказал он, указывая вправо.

— Почему? — спросил Трир.

— Через семьдесят шагов сойдёт снег.

— Ты видел?

— Я видел, что произойдёт, если мы пойдём.

Твэр коснулась его рукава.

— Ты уверен, что это будущее, а не твой страх?

Эйнн замер.

Вопрос матери уже жил между ними: что случится, если ты ошибёшься?

— Не уверен, — признался он. — Фьора?

Фьора опустилась на колени и коснулась ладонью снега. Сначала увидела воду, из которой он родился. Потом ветер, принёсший его с горы. Потом тяжесть верхнего пласта.

— Он держится плохо. Эйнн прав.

Они повернули к ручью.

Тиу шла с закрытыми глазами. Потерянные вещи звали её не голосом, а отсутствием — пустым местом, которое хотело снова соединиться с тем, кому принадлежало.

— Он не там, где его ищут взрослые, — сказала она.

— Где?

— Ниже. И дальше от воды.

Ниу остановился.

На его ресницах замёрз снег. Глаза смотрели сквозь метель.

— Я видел два возвращения, — сказал он. — В одном мы несём пустые шкуры. В другом Мох кусает кого-то за ухо.

Мох насторожился.

— Это хорошее будущее? — спросил Сьяу.

— Для нас — да. Для уха не очень.

— Какое настоящее?

— Пока оба.

Эйя положила ладонь сыну на плечо.

— Возможность не приказ. Помни.

Ниу кивнул.

У старого каменного выступа Сьяу внезапно остановился. Его улыбка исчезла раньше, чем остальные услышали звук.

Тихий хруст над головой.

— Назад!

Он толкнул Атту. В тот же миг с уступа рухнул пласт снега. Белая масса прошла перед ними, закрыв прежнюю тропу.

Сьяу тяжело дышал.

— Я почувствовал опасность.

— До того, как испугался? — спросила Твэр.

— Да.

— Значит, страх всё-таки умеет приходить вовремя.

Они обошли завал.

Ремень на санях порвался. Без них унести замёрзшего ре-

бёнка было бы трудно.

Трир взял концы в ладони.

— Я верну его прежнее состояние.

— Что будет, если ошибёшься? — спросила Эйя.

— Ремень вспомнит не тот день. Может стать сырой кожей. Или снова частью животного.

Мох медленно отступил.

— Поэтому я буду держать только последний целый узел.

Серебряная линия вспыхнула. Разорванные волокна вытянулись, встретились и сплелись. Трир побледнел.

Ремень стал целым.

— Не всё нужно возвращать далеко, — сказал он, тяжело переводя дыхание.

— Иногда достаточно одного шага назад, — ответила Эйя.

Сейкса вдруг согнулась.

Холод вошёл ей под рёбра. Не её холод — мальчика. Он лежал на боку, прижав колени к животу. В левую руку почти не поступала кровь.

— Ближе, — выдохнула она. — Он слышит воду под снегом.

Шаман взлетел.

Белая птица мгновенно исчезла в белом воздухе. Только серебряный отблеск на концах крыльев показывал направление.

Фимм достал трут. Ветер гасил искру прежде, чем она касалась сухой коры.

— Огонь не хочет, — сказал он.

— Огонь хочет жить, — ответила Эйя. — Но не обязан повиноваться тебе.

Фимм закрыл ладони вокруг трута.

— Тогда я попрошу.

Он не приказал пламени загореться. Вспомнил каждый домашний очаг, возле которого люди делились теплом. Искра дрогнула и стала маленьким огнём. Фимм спрятал её в глиняной чаше под одеждой.

Атта втянула воздух.

— Пахнет железом.

— Кровь? — спросил Эйнн.

— Нет. Неправильное изменение.

Она повернула к низкому снежному холму.

— Здесь кто-то трогал историю.

На поверхности не было следов. Но снег лежал слишком ровно, будто его разгладили рукой.

Фьора коснулась его и отдёрнулась.

— Под ним пустота.

Сьяу лёг и приложил ухо.

— Вода.

Тиу открыла глаза.

— И он.

Они стали копать.

Снег забивался под ногти. Пальцы немели. Эйя перестала чувствовать кончики рук, но продолжала разгребать пласт за

пластом. Мох работал передними копытами с такой яростью, что несколько раз засыпал снегом Трира и один раз самого себя.

— Не останавливайся, — сказал Эйнн.

Мох, не видя из сугроба ничего, кроме собственной важности, продолжил.

Показалась тёмная щель.

Под снегом находилась полость у незамерзающего ручья. Мальчик лежал на каменном выступе. Лицо было белым, ресницы слиплись от инея. Левая рука зажата между камнями.

— Не вытаскивайте сразу, — сказала Сейкса. — Ему больно здесь.

Она указала на плечо и запястье.

Эйнн увидел несколько путей. В одном камень сдвигали слишком резко, и свод обрушивался. В другом Трир возвращал камень к прежнему положению и придавливал руку сильнее.

— Тольва, Эллефу, — позвал он.

Младшие подошли.

До этого их дар казался самым тихим. Они не видели дальше Ниу, не слышали боль яснее Сейксы, не возвращали сломанное, как Трир.

Но когда Эллефу и Тольва взяли за руки, серебряные линии остальных детей вспыхнули и соединились.

Круг замкнулся.

Каждый перестал быть один на один со своим даром.

Эйнн увидел не тысячу дорог, а одну безопасную. Твэр услышала дыхание мальчика сквозь его страх. Трир почувствовал точную память ремня и камня. Фьора увидела воду, которая подтачивала свод. Фимм удержал огонь. Сейкса разделила боль, не забирая её целиком. Сьяу слышал момент опасности. Атта различала запах неверного вмешательства. Ниу видел будущее, но не принимал его за приговор. Тиу удерживала связь с потерянным.

— Сейчас, — сказал Эйнн.

Трир не возвращал камень в прошлое. Только восстановил отколовшийся край, чтобы тот снова обрёл опору.

Эйя подняла тяжесть. Тора и старшие дети потянули мальчика за одежду.

Свод застонал.

— Быстрее! — крикнул Сьяу.

Они вытащили ребёнка.

Через миг полость обрушилась.

Мальчик не реагировал.

Сейкса положила ладонь ему на грудь.

— Жив. Но уходит.

Фимм вынул глиняную чашу. Маленький огонь ещё горел.

Они завернули ребёнка в шкуры, сняли промёрзшую одежду, согревали постепенно — собственным телом, тёплым дыханием, огнём на расстоянии. Эйя не позволила серебру мгновенно вернуть ему здоровье. Замёрзшее тело

нельзя было грубо заставить стать тёплым: сердце могло не выдержать резкого возвращения.

Мох лёг рядом, прижавшись боком.

Мальчик не открывал глаз.

— Ухо, — напомнил Ниу.

— Что?

— В хорошем будущем Мох кусает кого-то за ухо.

Все посмотрели на оленёнка.

— Только осторожно, — сказала Тора.

Мох наклонился и мягко прихватил край детского уха губами.

И мальчик поморщился.

— Слюнявый... олень...

Тора заплакала и засмеялась одновременно.

— Вот и хорошее будущее.

К поселению они вернулись ночью.

Отец мальчика бежал навстречу, падая в снег. Увидев сына на санях, издал звук, в котором не было ни слова — только вся вина человека, обернувшегося слишком поздно.

Он прижал ребёнка к себе. Потом увидел серебряные линии под кожей детей.

Один из мужчин позади него отступил.

— Нечистые, — прошептал он.

Слово было сказано тихо, но слышали все.

Эллефу посмотрел на Эйю.

— Мама, мы люди?

Метель стихала. Снег падал теперь медленно, крупными хлопьями. Вокруг стояли спасённый мальчик, плачущий отец, уставшие дети и взрослые, которые одновременно благодарили и боялись.

Эйя опустила перед сыном на колени.

— Да.

— Но мы другие.

— Люди все разные. Только не все светятся.

Несколько детей улыбнулись. Эллефу коснулся серебряной линии на запястье.

— А если нас будут бояться?

Эйя хотела сказать: прячьтесь. Уходите. Не показывайте дар тем, кто превратит его в оружие.

Но вместо этого сказала то, что дети понесут через века:

— Главное — не стать теми, кого они боятся.

Тольва положила маленькую ладонь на руку матери.

— А если они всё равно увидят в нас чудовищ?

— Тогда вы всё равно должны помнить, кто вы.

— Кто мы?

Эйя посмотрела на двенадцать детей: на Эйнна и Твэр, Трира и Фьору, Фимма и Сейксу, Сьяу и Атту, Ниу и Тиу, Эллефу и Тольву.

— Вы мои дети, — сказала она. — Этого достаточно для начала.

Спасённый мальчик открыл глаза.

— Они нашли меня, — прошептал он отцу. — Когда ни-

кто не слышал.

Мужчина, назвавший детей нечистыми, опустил голову.

Эйя не потребовала извинения. Добро, которое требует немедленной благодарности, слишком быстро становится сделкой.

В ту ночь дети лежали вдоль стен, укрытые шкурами. Мох устроился у двери и во сне тихо жевал, хотя во рту ничего не было. Шаман сидел на перекладине, глядя в сторону северного неба.

Эйя не спала.

Она видела в каждом даре будущий соблазн.

Эйинн мог решить, что прав тот, кто лучше видит путь. Твэр — что всякую боль следует исцелять, даже если человек держится за неё как за последнюю память. Трир мог привыкнуть исправлять сломанное и однажды попытаться исправить живую душу. Фьора — утонуть в чужих воспоминаниях. Фимм — принять огонь за послушного слугу. Сейкса — отдать себя чужому страданию. Сьяу — поверить, что скорость заменяет осторожность. Атта — сделать правду жестокой. Ниу — принять возможное за неизбежное. Тиу — найти то, что лучше было оставить потерянным. Эллефу и Тольва — подчинить воле остальных, потому что могли соединять их силы.

Поэтому Эйя решила учить детей не владеть дарами.

Сомневаться в себе раньше, чем дар станет приказом.

Каждому она задаст один вопрос:

«Что случится, если ты ошибёшься?»

Дети не любят этот вопрос.

Именно поэтому она будет повторять его чаще остальных.

За крышей шёл снег. За снегом стояли горы. За горами — море. За морем — мир, который ещё не знал, что в низком доме у северного фьорда растут двенадцать детей, способных изменить его путь.

Эйя понимала: они родились не для власти, поклонения или славы.

Они родились спасать там, где спасение не превращается в новое насилие.

На столе чёрный осколок вдруг вспыхнул.

Не серебром.

Глубоким синим светом, похожим на солнце, увиденное сквозь толщу далёкого океана.

Логос произнёс:

— Пора показать им Архив.

Шаман повернул голову к детям.

Двенадцать серебряных нитей под их кожей зажглись одновременно.

Глава 13. Архив за Нептуном

Синий свет под чёрной коркой кристалла сделался глубже. Он не разливался по комнате, как огонь, а будто вытягивал из неё тепло. Иней проступил на деревянном столе тонкими ветвями. Вода в чаше покрылась гладкой тёмной плёнкой, хотя очаг продолжал гореть.

Дети придвинулись ближе.

Эйя почувствовала холод первой. Он коснулся не кожи — памяти. На одно мгновение ей показалось, что она снова стоит у погасшей лежанки отца и не решается убрать кристалл с его груди. Пальцы сами сжались.

— Их тела останутся здесь? — спросила она.

— Да.

— А разум?

— Разум увидит то, что находится дальше восьмого мира.

Поздние люди назовут этот синий мир Нептуном. Для детей Эйи он был лишь огромным холодным шаром, о котором Логос говорил так, словно однажды держал его на ладони.

— Если им станет больно, ты вернёшь их сразу.

— Верну.

— Даже если они попросят остаться.

Логос помолчал.

— Даже тогда.

Эйя посадила детей кругом на оленьих шкурах. Под их

босыми пятками чувствовалась утоптанная земля, нагретая очагом. Она велела каждому запомнить что-нибудь простое и своё: запах дома, голос брата, вкус сушёной ягоды, шероховатость деревянной ложки. То, что нельзя спутать с чужой жизнью.

Мох сунул морду между Эйнном и Твэр, решив, что круг собрался ради него.

— Тебя не берём, — сказала Атта.

Мох обиженно фыркнул и улёгся поперёк выхода, чтобы хотя бы никто не смог отправиться во Вселенную без его ведома.

Шаман сидел на перекладине. Его круглые жёлтые глаза отражали не огонь, а холодный синий свет осколка.

— Возьмитесь за руки, — сказал Логос через Эйю.

Двенадцать детей соединили ладони.

Сначала ничего не произошло.

Потом Эйя перестала слышать потрескивание дров.

Огонь перед ней двигался, но беззвучно. Снаружи ветер толкал дверь, однако дерево больше не скрипело. Мир не исчез — из него вынули звук, как нож из ножен.

Серебряные линии под кожей детей вспыхнули одновременно.

Эллефу успел вдохнуть.

Выдохнул он уже среди звёзд.

Не было полёта, от которого волосы отбрасывает назад. Не было ветра. Только страшное ощущение, будто расстоя-

ние внезапно перестало существовать. Дом остался вокруг их тел, а сознание шагнуло туда, где не было ни воздуха, ни верха, ни низа.

Земля уменьшилась до голубой искры.

Солнце стало ослепительной точкой.

Мимо прошёл мир, опоясанный кольцами. Дети увидели его сразу со всех сторон и от этого вскрикнули: человеческий взгляд не был создан, чтобы видеть шар целиком. Дальше висел тёмно-синий гигант. В его облаках бушевала буря, способная проглотить их фьорд вместе с горами, но здесь она казалась маленьким светлым завитком.

За ним начиналась настоящая тьма.

Не ночная. Ночью всегда есть снег, очертания крыши, дыхание рядом. Здесь тьма была пространством без человеческого следа. В ней медленно двигались ледяные тела — чёрные с одной стороны, белые от далёкого света с другой. Казалось, время здесь замёрзло так давно, что забыло свой ход.

— Мне холодно, — прошептала Тиу.

Её тело по-прежнему сидело у очага, но зубы застучали. Эйя крепче сжала её руку.

— Вспомни огонь.

— Не вижу.

— Тогда вспомни, как Мох однажды лёг на твоё одеяло и не хотел вставать.

Тиу всхлипнула.

— Он был тяжёлый.

— И тёплый.

— И пах ужасно.

Из темноты пришло слабое фыркание. Настоящий Мох во сне дёрнул ухом, будто слышал обвинение через край Вселенной.

Тиу перестала дрожать.

Перед ними возник Архив.

Сначала дети приняли его за россыпь ледяных глыб. Потом одна глыба повернулась, и внутри вспыхнуло человеческое лицо. За ним — улица под красным небом. Другая хранила лес из прозрачных стволов. Третья — море, в котором вместо волн поднимались живые огни.

Кристаллы тянулись во тьму дальше, чем хватало взгляда.

— Здесь всё? — спросил Фимм.

— Не всё, — ответил Логос. — Только то, что удалось сохранить.

— Это записи?

— Нет. Запись рассказывает о жизни. Здесь жизнь продолжается ровно столько, сколько вы способны её выдержать.

Один из кристаллов зажёгся рядом с Тольвой.

Девочка не коснулась его. Он сам узнал в ней того, кто умеет слышать потерянное.

Мир раскрылся внутри неё.

Тольва закричала.

Она стала женщиной, которая рожала ребёнка под грохот

рушащегося города. Почувствовала, как чужие пальцы разрывают ей ладонь. Услышала первый крик младенца и в ту же секунду — последний удар башни, под которой погиб его отец.

Картина оборвалась.

Тольва стала стариком, сидевшим у высохшего моря. Его народ ушёл, а он остался, потому что обещал жене не бросать дом. Она умерла сорок лет назад, а он всё ещё ставил для неё вторую чашу.

Картина оборвалась.

Тольва стала молодым воином. Он ворвался в жилище врага и увидел мальчика, закрывшего собой маленькую сестру. В ту секунду воин понял, что всю жизнь называл чудовищами людей, которые просто боялись точно так же, как он. Понял слишком поздно: рука уже нанесла удар.

Тольва ощутила чужой ужас, чужой стыд, чужую кровь на пальцах.

— Закрой! — крикнула Эйя.

Кристалл не послушался.

Ещё сотни жизней потянулись к девочке. Чей-то первый поцелуй. Голод. Тёплая ладонь матери на лбу. Человек, умирающий в одиночестве, до последнего слушал шаги, ожидая прихода родных. Но никто так и не пришёл. Ребёнок, спрятавший кусок хлеба для младшей сестры. Женщина, отпустившая руку сына и оттолкнувшая его к берегу, чтобы течение унесло только её.

Тольва перестала кричать.

Это было страшнее.

Её лицо стало спокойным, почти пустым.

— Как тебя зовут? — спросила Эйя.

Она посмотрела сквозь него.

— Меня звали по-разному.

Эйя почувствовала, как холод проходит под рёбра.

— Тольва.

Девочка не повернула головы.

— Ты Тольва. Ты прячешь сушёные ягоды под лежанкой,

хотя думаешь, что я не знаю.

Ответа не последовало.

— Ты боишься глубокого льда, но всегда подходишь первой, когда плачет другой.

Ресницы девочки дрогнули.

Эйя сжала её пальцы так сильно, что ногти побелели.

— Ты однажды отдала Моху мой праздничный пояс, потому что решила, что у него мерзнет шея.

В пустом лице появилась едва заметная надежда.

— Он... красиво выглядел, — прошептала Тольва.

— Ужасно. Он съел половину кистей.

— Только одну.

— Тольва.

Девочка судорожно вдохнула.

Архив отпустил её.

Все двенадцать разом рухнули обратно в собственные те-

ла. В дом вернулся звук: треск угля, вой ветра, тяжёлое дыхание детей. Кто-то плакал. Кого-то тошнило. Сяю прижимал ладони к ушам, хотя вокруг было тихо. Фьора смотрела на свои пальцы, словно ожидала увидеть на них чужую кровь.

Тольва лежала у Эйи на коленях.

— Я помню их, — прошептала она.

— Кого?

— Всех.

— Нет, — сказал Логос, но его услышала только Эйя. — Уже не всех. Иначе ты не смогла бы сказать «я».

Синий свет осколка погас. Иней на столе начал таять, оставляя тёмные мокрые следы.

Логос не стал утешать детей ложью. Эйя пересказывала детям его слова.

— Память не безобидна. Если открыть слишком много кристаллов, чужие судьбы сотрут границу собственного «я». Вы будете помнить миллионы смертей и однажды забудете, кого любите сами.

— Тогда зачем нужен Архив? — спросила Сейкса.

— Чтобы погибшие не исчезли бесследно.

— Но, если смотреть опасно?

— Огонь тоже опасен. Поэтому вы не обнимаете пламя, когда хотите согреться.

Дети притихли без просьбы. Впервые они поняли: знание не становится добром только потому, что оно истинно. У всякой истины есть вес. Если поднять больше, чем способен

удержать, она не возвысит — раздавит.

Долго никто не говорил.

Потом Трир, всё ещё бледный, спросил:

— А у той цивилизации с прозрачными деревьями были собаки?

Эйя закрыла глаза.

Логос ответил не сразу:

— Не собаки. Существа с четырьмя опорными конечностями, развитым обонянием и социальной привязанностью.

— Значит, собаки, — уверенно сказал Трир.

— Нет.

— А хвостами они виляли?

Пауза стала ещё длиннее.

— Иногда.

— Значит, собаки.

Сначала засмеялась Тольва. Смех вышел слабым и мокрым от слёз. Потом Фьора. Потом остальные. Они смеялись не потому, что было весело, а потому, что возвращались к себе — в низкий дом, к огню, к сушёной рыбе под балкой и Моху, который во сне медленно сполз на бок.

Логос впервые понял: одного вселенского разума недостаточно, чтобы говорить с детьми. Нужна форма. Глаза, в которые можно смотреть. Лапы, которые оставляют следы. Уши, хвост — хоть что-нибудь живое и понятное, за чем можно уследить, когда тебе десять лет, ты только что услышал миллионы мёртвых, а в углу всё ещё сохнет рыба.

В эту ночь он впервые посмотрел на животных не как на часть земной жизни.

Как на возможный мост.

Глава 14. Первые проводники Логоса

Эйя почувствовала его замысел раньше, чем Логос решился заговорить.

Животные в доме начали вести себя странно. Большой пёс Гром поднял голову у очага и долго смотрел в пустой угол. Мох подошёл к чёрному осколку, понюхал его, лизнул и обиженно отдёргнул язык. Шаман распушил белые перья, хотя в доме было тепло.

Ночью, когда дети уснули, Эйя вышла к загону.

Мороз стоял такой, что воздух царапал горло. Снег под ногами не скрипел — ломался мелкими сухими пластинками. Над фьордом лежала низкая луна, а на её светлом краю кружили два чёрных ворона. Они летели против ветра и ни разу не взмахнули крыльями.

— Ты хочешь войти в животное, — сказала Эйя.

Синий отблеск прошёл по снегу возле её ног.

— Не войти. Отразиться.

— Для того, чьё тело ты выберешь, это может оказаться одним и тем же.

— Я не вытесню его разум.

— Но воспользуешься им.

— Я хочу говорить с детьми в форме, которая не напугает

их.

Эйя посмотрела на тёмные дома. Когда-то чужие мужчины тоже говорили, что знают, какая жизнь для неё будет лучше. Они называли похищение свадьбой, а насилие — правом сильного. После этого она особенно ясно понимала: добро начинается не с благой цели. Оно начинается с границы, которую ты не переступаешь даже ради этой цели.

— Олень не сумеет сказать тебе «да» или «нет», — произнесла она.

— Он сумеет уйти.

— Тогда, если он отступит, ты отпустишь его. Немедленно.

— Отпущу.

— Если испугается — прекратишь.

— Да.

— Если даже дети будут нуждаться в тебе, но животное не захочет — ты не пойдёшь против воли животного.

Свет на снегу замер.

— Ты ставишь желание животного выше знания, которое может спасти мир.

— Нет. Я не позволю тебе спасать мир тем же способом, которым тьма его ломает.

Из загона донёсся тяжёлый вздох старого оленя. Пар поднялся над жердями и на миг сложился в форму человеческой ладони, а затем рассеялся.

Эйя подошла ближе к синему свету.

— Ты однажды сказал, что не являешься Богом.

— Да.

— Тогда не веди себя так, будто всё живое — твоя одежда.

Логос молчал долго. Дым из отверстия в крыше перестал метаться на ветру и вытянулся вверх тонкой прямой нитью.

— Я буду просить, — сказал он наконец.

Так, один из первых законов будущего Братства, родился не перед царём и не на поле сражения. Он появился ночью у загона, перед существами, которые не могли защитить своё право человеческими словами.

Утром Эйя собрала детей во дворе.

— Сегодня Логос попробует говорить с вами напрямую через животное, — сказала она.

— Через Шамана? — сразу спросила Сейкса.

Белая сова повернула голову к девочке, но осталась на крыше.

— Нет. Сначала он должен научиться просить.

— А животное поймёт?

— Поймёт достаточно. Страх, боль и желание уйти не нуждаются в человеческом языке.

Логос выбрал Мох.

Со стороны выбор выглядел разумным. Мох жил рядом с детьми с самого их рождения, знал их запахи, терпел объятия, позволял младшим спать у себя под боком и считал себя важнейшим участником всех семейных событий. Кроме того, олень на Севере казался достойным проводником древ-

ней силы.

Логос не учёл только одного.

Мох оставался Мохом.

Эйя положила чёрный осколок на раскрытую ладонь. Сияний свет не потянулся к оленёнку сразу. Он остановился между ними тонкой серебряной нитью.

Мох поднял голову.

В первый миг он насторожился. Ноздри дрогнули, передняя нога отступила.

Свет исчез.

— Ты прекратил, — сказала Эйя.

— Он отступил.

Мох посмотрел на пустое место, откуда только что исходило сияние. Любопытство победило осторожность. Он шагнул вперёд сам, обнюхал ладонь Эйи, затем сунул нос в сторону осколка.

— Не ешь, — предупредила она.

Мох лизнул кристалл.

Его морда выразила глубокое разочарование во Вселенной.

Дети захихикали.

— Это согласие? — спросил Эллефу.

— Это Мох, — ответила Эйя. — С ним никогда нельзя быть уверенным.

Логос коснулся его снова — так осторожно, как северное сияние касается снега, не оставляя раны, только свет.

Оленёнок не дрогнул.

Серебро прошло по его шерсти от носа до тонких ног. На кончиках маленьких рогов вспыхнули звёзды. Тень Мохы вытянулась по снегу и на мгновение стала похожа на огромное древнее животное, шагавшее между мирами ещё до появления людей.

Дети перестали смеяться.

Глаза Мохы сделались глубокими. В них отразились орбиты планет, ледяные кольца и свет звезды, умершей задолго до рождения Земли.

Мох медленно поднял голову.

Величие длилось ровно три удара сердца.

На четвёртом он заметил клочок сухого мха возле сапога Эйны.

И потянулся к нему.

Логос попытался удержать голову прямо.

Мох попытался дотянуться до еды.

Между вселенской волей и оленьим аппетитом началась первая безмолвная борьба.

Эйя поняла: Логос выполнил обещание. Он мог направлять тело, но не уничтожил его хозяина. Мох оставался свободным даже внутри древнего света.

И именно поэтому всё, что случилось дальше, оказалось неизбежным.

Глава 15. Логос говорит через Моха

Дети зашли в дом, уселись в круг и начали спорить, может ли камень помнить руку, если рука давно стала землёй, а камень всё ещё лежит у ручья.

Мох стоял рядом, жевал сухой мох с таким сосредоточенным видом, будто решал судьбу мира, и время от времени просовывал морду между спорящими, чтобы тоже принять участие.

Потом он замер.

И перестал жевать.

Это насторожило детей. Они уставились на оленёнка очень внимательно.

Уши Моха поднялись. По шерсти прошла тонкая тень, похожая на лунный отблеск на льду. Оленёнок медленно выпрямился.

Обычно он выпрямлялся только перед тем, как во что-нибудь врезаться.

Он посмотрел на детей слишком внимательно и произнёс голосом Логоса:

— Сегодня мы поговорим о природе причинности.

Наступила тишина.

Эйя вышла на порог.

Дети смотрели на Мох.

Мох смотрел на детей.

Всё могло бы быть величественно, если бы из его рта не торчал не дожёванный клочок травы. При каждом слове он покачивался вверх и вниз, будто тоже хотел объяснить устройство Вселенной.

— Причинность, — продолжил Логос, стараясь говорить торжественно, — это невидимая связь между тем, что было, тем, что есть, и тем, что ещё только ищет дорогу к существованию.

Мох моргнул. Одно ухо осталось стоять, второе медленно съехало в сторону.

Тольва зажала рот ладонью.

— Не смейтесь, — строго сказал Логос.

Мох попытался сделать шаг вперёд, но наступил на край детского покрывала, которое сам же притащил в дом. Передние ноги пошли. Задние задержались. Тело наклонилось. Голова опустилась. Зад поднялся.

На миг Мох почти встал на голову.

Пытаясь сохранить равновесие, он высунул язык набок.

Дети взорвались смехом.

— Логос! — закричал Эйнн. — Ты сейчас мудрый или красивый?

— Я в замешательстве, — ответил Логос.

Мох медленно сполз мордой в пол.

— Я изучаю ограничения выбранного тела.

— Тело изучает землю! — захохотала Атта.

Эйя старалась сохранить серьёзность. Сначала дрогнули губы. Потом она закрыла лицо ладонью и рассмеялась вместе со всеми — так свободно, как не смеялась со смерти отца.

Мох поднял голову. На носу лежала белая сушеная травинка, язык по-прежнему торчал в сторону. Сам он, кажется, забыл, что язык обычно держат во рту.

— Слушайте внимательно, — потребовал Логос. — Большое редко начинается большим.

— А смешное? — спросила Тольва.

— Смешное, — после долгой паузы ответил он, — часто начинается с неверного выбора проводника.

Мох решил вернуть себе достоинство. Высоко поднял голову, шагнул и снова запутался в собственных ногах. Не упал только потому, что упёрся мордой в плечо Эйи.

— Я сделаю вывод, — сухо произнёс Логос.

— Какой? — спросил Эллефу.

— Мох не подходит для торжественных бесед о судьбе Вселенной.

Оленёнок радостно ткнулся в ладонь Эйи, не подозревая, что только что был отстранён от великой миссии.

— Зато он старается, — сказала она.

— Это и стало главной проблемой.

Мох вдруг повернул голову к Эйнну и начал жевать край его рукава.

— Логос, перестань!

— Это не я.

— Ты сейчас внутри него!

— Именно поэтому я могу с уверенностью утверждать:
это не я.

Эйнн потянул рукав на себя. Мох потянул в другую сторону. Логос пытался продолжать объяснение, но каждое слово сопровождалось рывком оленьей головы.

— Любое действие... порождает... следствие...

Рукав треснул.

Эйнн упал на спину. Мох отступил с половиной вязаного края во рту. Дети снова расхохотались.

— Вот, — сказала Фьора, вытирая слёзы. — Действие и следствие.

Логос замолчал.

— Урок завершён, — объявил он.

— Но ты ничего не объяснил!

— Напротив. Эйнн потянул рукав. Мох не отпустил. Нить порвалась. Эйнн упал. Вы засмеялись. Теперь Эйнн сердит-ся, а Мох считает себя победителем. Причинность продемонстрирована полностью.

Мох гордо жевал добычу.

— И что мне делать с рукавом? — спросил Эйнн.

— Принять последствия собственного решения вступить
в спор с оленем.

Даже Эйя не выдержала.

Когда Логос покинул тело, серебро ушло из шерсти Моха.

Оленёнок встряхнулся, словно с него слетела вода, оглядел детей и первым делом доел клочок сухой травы, который всё время мешал откровению.

Потом попытался съесть остаток рукава.

Эйинн успел отнять его.

Вечером дети ещё долго просили:

— Логос, приходи Мохом!

— Нет.

— Ну пожалуйста!

— Нет.

— Он почти понял причинность!

— Он почти съел причинность.

Когда смех стих, Эйя нашла Логоса в отражении воды.

— Ты всё-таки объяснил им больше, чем хотел.

— Я не успел изложить даже начало.

— После Архива они боялись задавать тебе вопросы. Сегодня они перестали бояться.

Вода в чаше дрогнула.

— Я выбрал неподходящего проводника.

— Ты ошибся. Они увидели, что Вселенная тоже может ошибаться и не разрушиться от этого. Теперь им будет легче признать собственную ошибку.

Логос долго не отвечал.

— Это тоже причинность? — спросил он наконец.

— Самая человеческая её часть.

Снаружи Мох ударился лбом о дверь, которую сам же не

заметил.

Эйя улыбнулась.

Иногда великий урок входил в дом не в сиянии и величии.

Иногда он спотыкался о покрывало, высовывал на бок язык и жевал чужой рукав.

Глава 16. Уроки через зверей

После Моха Логос стал осторожнее.

Следующий урок начался без предупреждения.

Утро было лютым. Мороз стянул фьорд белым дымом. Вдох обжигал ноздри, а мокрая шерсть на рукавицах застыла раньше, чем человек успевал отряхнуть снег. Дети сидели у очага, прижав ступни к тёплым камням. На полу стояла деревянная миска с водой.

Гром лежал рядом.

Имя ему дали за размеры, а не за характер. Он был большой, тёмный и молчаливый, любил детей, огонь и сон. На людей смотрел так, будто заранее прощал им почти всё, но не ожидал ничего разумного.

Серебряный свет коснулся его шерсти.

Гром поднялся, подошёл к миске и произнёс голосом Логоса:

— Сегодня мы вернёмся к причинности.

Дети оживились.

— А ты тоже упадёшь? — спросил Сьяу.

— Нет.

— Съешь рукавицу?

— Нет.

— Тогда будет скучно, — решила Атта.

Гром посмотрел на плохо поставленную миску и легко

толкнул её носом.

Вода разлилась по полу.

Фимм вскочил, чтобы спасти шкуры, задел ногой полено. Полено выкатилось из очага. Искра упала на пучок сухой травы. Твэр успела затоптать её сапогом, но обожгла подошву. От дыма проснулся Мох, шарахнулся в сторону и опрокинул корзину с сушёной рыбой. Гром, забыв о величии, поймал один кусок прежде, чем тот коснулся земли.

Все замерли.

Собака медленно прожевала рыбу.

— Это было частью урока? — спросила Фьора.

— Частично.

— Какая часть?

— Миска.

— А рыба?

— Непредусмотренное следствие.

Гром тяжело сел возле пустой миски.

— Один лёгкий толчок породил воду на полу, движение Фимма, падение полена, огонь, ожог Твэр, испуг Мох и потерю рыбы. Большая беда редко начинается с желания уничтожить мир. Чаще кто-то просто ставит миску на край, а потом слишком горд, чтобы признать ошибку.

Дети посмотрели на миску так, будто она была маленьким злым царём.

— Значит, всё опасно? — спросил Ниу.

— Нет. Но почти всё имеет продолжение и последствия.

После этого дети несколько дней проверяли миски. Позже они поймут, что троны, армии и целые державы падают по тому же закону: сначала кто-то не замечает малую трещину, затем скрывает её, потом заставляет других молчать — и однажды рушится стена.

Но для следующего урока Логос всё-таки выбрал оленя.

Старый олень жил у загона давно. У него было белое пятно на морде, густая шерсть на шее и спокойный взгляд существа, которое уже давно изучило все законы мироздания и теперь терпеливо ожидало, когда это поймут остальные. Он не путался в покрывалах, не ел чужие травы и не пытался спрятаться за человеком, оставляя снаружи половину тела.

Перед тем как коснуться его, Логос попросил.

Олень поднял голову, посмотрел на серебряный свет и сам шагнул навстречу.

Утро было ясным. Мороз сделал небо хрупким и высоким. Дети выбежали к загону, пряча носы в меховые воротники.

Старый олень произнёс:

— Сегодня мы всё-таки изучим причинность без падений.

Тора, шедшая мимо с хворостом, остановилась.

— Опять олень заговорил, — шепнула Атта.

— На этот раз правильный, — ответил Эллефу.

Олень медленно повернул к нему голову.

— Я не олень.

Эйинн прищурился.

— А доказательства?

— Я могу показать, как одна секунда меняет жизнь человека.

— Мох тоже мог бы так сказать, если бы не жевал.

Тора положила хворост на снег.

— Если этот сейчас попросит соли, я уйду жить в рыбацкую яму.

Олень посмотрел на неё.

— Соль вредна в большом количестве.

— Всё, — сказала Тора. — Это точно не наш. Наш бы попросил.

Дети засмеялись.

Олень ударил копытом.

Снег поднялся серебряным облаком. Каждая снежинка вспыхнула маленьким окном.

В первом окне рыбак вышел из дома на один удар сердца раньше. Его собаки ещё были привязаны. В серой утренней мгле между деревьями мелькнули волчьи спины. Мужчина услышал хруст, обернулся, но рукавицы не дали быстро вытащить нож. Дети почувствовали его последний страх — горячий, солёный, пахнущий железом.

Тольва отвернулась.

Во втором окне тот же рыбак задержался у двери, потому что дочь попросила поправить ей завязку на обуви. Пока он наклонялся, собаки сорвались с привязи и подняли лай. Волки ушли. Мужчина вернулся вечером и принёс дочери

маленькое резное колечко из кости.

Обе картины погасли.

На снег снова опустилась обычная белизна.

— Его спасла завязка? — спросил Сяю.

— Его спасли дочь, задержка, собаки и множество других нитей.

— А если бы она не попросила?

— Тогда могла случиться первая ветвь. Или третья. Или сотая.

— Значит, ты не знаешь точно? — спросила Фьора.

Старый олень посмотрел на неё без обиды.

— Я знаю связи. Но живой выбор есть всегда.

— А маленькое всегда важно?

— Нет.

— Тогда как понять, когда важно?

Олень задумался красиво: не падая, не высовывая языка и не пытаясь съесть объяснение.

— Не всегда можно понять заранее. Поэтому вам нужны внимание и смирение. Внимание — чтобы заметить малое. Смирение — чтобы увидеть все возможные последствия.

— Скажи проще, — попросила Атта. — Мы всё ещё маленькие.

— Не проходите мимо того, что можете исправить. Но не воображайте себя хозяевами всех дорог.

Дети кивнули.

— Вот теперь понятно, — сказала она.

Логос попробовал ещё одного проводника — пса по имени Вихрь.

Вихрь был тихим и больше всего любил растянуться у очага с видом существа, давно разочаровавшегося в человеческой суете. Когда серебро прошло по его шерсти, он величественно поднялся, сел посреди дома и сказал:

— Сегодня я объясню вам природу времени.

Никто не услышал продолжения.

Вихрь увидел собственный хвост.

Тело собаки оказалось слишком честным. Оно хотело не объяснять время, а немедленно выяснить, почему сзади движется подозрительная пушистая вещь. Логос сделал круг. Потом второй. Потом третий.

Дети визжали от восторга.

— Логос, ты поймал прошлое? — крикнул Ниу.

— Это не прошлое, — строго ответил Вихрь, продолжая кружиться. — Это физиологическое недоразумение.

— Почему ты за ним бегаешь?

— Я изучаю циклические процессы.

— Ты гоняешься за хвостом!

— Циклические процессы часто недооценивают.

Вихрь наконец остановился, сел, тяжело дыша, и попытался вернуть себе величие.

— Время похоже на след собаки на снегу.

— Который бежит кругом? — спросила Твэр.

— Иногда.

— Значит, время тоже может запутаться?

Логос собирался ответить, но собачье тело широко зевнуло. Получилось долго, неприлично и совсем не космически.

Тора вошла с миской.

— Раньше собаки хотя бы молчали, когда умничали.

С тех пор дети просили:

— Приходи Вихрем! Вихрем веселее!

Логос отвечал, что обучение не должно держаться на веселье.

Но почему-то в дни, когда детям было тяжело, он чаще выбирал не старого оленя и не северное сияние.

Он приходил Громом.

Гром не всегда давал ответ. Иногда просто ложился рядом, прижимал к ребёнку тёплый бок и позволял плакать в свою шерсть.

Логос постепенно учился тому, чего не было ни в одном кристалле Архива: иногда человеку прежде всего нужно не объяснение боли.

Ему нужно, чтобы в этой боли он не остался один.

Глава 17. Первые видения

Тольва увидела мальчика в куске льда.

Это случилось вечером, когда дети принесли с ручья прозрачные пластины льда, чтобы растопить их для воды. На одной из них не было ни пузырька, ни трещины. Девочка подняла её к огню — и вместо красных углей увидела белую комнату.

Холод изменился.

Только что он кусал пальцы снаружи, а теперь оказался внутри груди — чистый, сухой, пахнущий металлом и чем-то горьким. В комнате будущего не было дыма. Свет исходил из ровных белых полос. За стеклянной стеной женщина прижимала ладони ко рту, чтобы не закричать.

На высокой постели лежал мальчик.

Он был почти ровесником Тольвы. На его лице находилась прозрачная маска. От груди тянулись тонкие нити к непонятым приборам. Один из них подавал тихий ритмичный звук.

Тольва не знала, что это за место, но узнала ожидание смерти.

Она видела его в глазах раненых зверей. В том, как взрослые начинают говорить тише, будто смерть можно не разбудить.

Мальчик открыл глаза.

На одно мгновение он посмотрел прямо на неё — через лёд, века и ещё не рождённые города.

Звук рядом с ним ускорился.

Потом превратился в одну прямую ноту.

Женщина за стеклом согнулась пополам.

Тольва закричала и выронила лёд.

Пластина не разбилась. Она встала на ребро и продолжала показывать белую комнату.

— Я должна быть там! — Девочка потянулась к ней обеими руками. — Сейчас!

Серебряные линии на её запястьях вспыхнули. Воздух вокруг стал тонким, как перед разрывом времени.

Эйя ударила ладонью по льду.

Видение погасло.

— Верни! — Тольва бросилась к ней. — Он умер!

— Я видела.

— Мы можем спасти его!

— Как его зовут?

Тольва открыла рот.

— Я не знаю.

— Где он живёт?

— Не знаю.

— В каком году?

— Не знаю!

— От чего он умер?

— Я узнаю!

— Что изменится, если ты вмешаешься?

— Он будет жив!

— Только он?

Тольва застыла.

Эйя опустила перед ней. Говорить спокойно было трудно: материнское сердце требовало согласиться, открыть любую дверь, лишь бы ребёнок больше не плакал.

— Возможно, ты спасёшь его. Возможно, из-за этого не будет создано лекарство, которое спасёт тысячи. Возможно, он сам вырастет и спасёт других. Возможно, причинит зло. Мы не знаем.

— Значит, оставить его умирать?

— Значит, не называть своим правом то, чего ты пока не понимаешь.

— Но мне больно!

— Я знаю.

— Тогда зачем мне показали?

Эйя не нашла ответа.

К Тольве подошёл Гром. В его шерсти уже мерцал серебряный свет. Он положил большую тёплую голову девочке на колени и сказал голосом Логоса без всякой торжественности:

— Не всякий след можно изменить издалека. Иногда память дана не для вмешательства, а для сострадания.

Слёзы текли по лицу Тольвы и падали на собачью шерсть.

— А зачем сострадать, если это ничего не исправит?

Гром тяжело вздохнул. От его дыхания на её ладонях рас-

таяли крошки льда.

— Потому что мир, в котором никто не сострадает, ломается быстрее. Чужая боль не всегда просит тебя изменить прошлое. Иногда она просит не позволить твоему сердцу стать камнем.

— Он всё равно умер.

— Да.

Логос не сказал, что всё будет хорошо.

Иногда это была самая честная форма милосердия.

Тольва обняла Грома за шею. Пёс терпеливо сидел, хотя хвост предательски стучал по полу. Через некоторое время девочка перестала дрожать.

На следующий день Логос попытался продолжить урок через рыбу.

Рыбаки принесли большую треску — серебристую, холодную, с мутным круглым глазом. Эйя чистила её на столе, Тора насыпала соль, дети спорили, помнит ли вода все свои прежние формы: снег, море, слезу, кровь.

Треска открыла рот.

— Вода помнит всё.

Тора выронила соль.

Эйя медленно положила нож.

— Логос.

— Да.

— Ты в рыбе.

— Я заметил.

Дети подошли ближе. Атта ткнула треску пальцем в бок.

— Тебе удобно?

— Нет.

— Почему ты выбрал рыбу?

— Я хотел показать, что память воды можно читать через

того, кто жил в ней.

— И как?

Рыба молчала.

— Логос?

— Я недооценил ограничения жаберного аппарата.

Тора схватила за край стола.

— Я знала, что неделя плохо кончится, но, чтобы разговаривать с ужином...

— Я не ужин, — возразила треска.

— Через час посмотрим.

Дети взвыли от смеха. Даже Тольва, ещё опухшая от вчерашних слёз, фыркнула и прикрыла лицо рукавом.

Эйя старалась быть строгой.

— Ты обещал просить.

— Рыба не возражала.

— Рыба уже почти ничего не могла возразить.

— Я использовал остаточный след.

— Логос.

— Да?

— Выйди из рыбы.

— С радостью.

После этого дети несколько дней, садясь за еду, уважительно спрашивали:

— Здесь никто не собирается читать нам лекцию?

Тора отвечала:

— Если селёдка заговорит, я первая уйду в море.

Самой прекрасной формой Логоса оставалось небо.

В ясные ночи он поднимал над фьордом северное сияние и превращал его в живую книгу. Зелёные и синие ленты складывались в оленей, корабли, лица, дороги и звёздные спирали. Красные всполохи становились предупреждениями. Белые нити — путями выбора.

Дети выбегали из дома, не успев застегнуть меховые накидки. Мороз сразу забирался под одежду. Он кусал поясницу, сжимал пальцы ног, превращал ресницы в белые иглы. Но никто не возвращался к огню.

— Покажи снова!

— Быстрее!

— Нет, медленнее!

Логос пытался показать всё так, как видел сам: причину, следствие, боковые ветви, будущие отражения. Дети металась по снегу, падали, вставали и иногда следили не за той частью неба.

Однажды маленькая зелёная точка стала мальчиком на берегу. Он поднял обычный камень и положил возле проруби. Утром женщина заметила камень, остановилась и увидела тонкую сетку трещин. Она увела сына другой дорогой.

Мальчик не провалился под лёд.

Он вырос хорошим следопытом. Много лет спустя первым увидел чужой парус у входа во фьорд. Успел поднять тревогу. Мужчины спрятали детей в скалах. Женщины вынесли зерно, рыбу и тёплые шкуры. Старики погасили очаги, чтобы дым не выдал поселение.

Длинный корабль прошёл мимо, приняв долину за пустую.

На небе снова вспыхнул маленький камень.

— Один камень остановил женщину, — сказал Логос. — Женщина спасла ребёнка. Ребёнок вырос и спас поселение. А поселение сохранило тех, от кого родились люди, изменившие историю.

— Значит, главным был камень? — спросил Эйинн.

— Нет. Главным был тот, кто не прошёл мимо.

— А если бы мальчик его не поднял?

Северное сияние дрогнуло.

Та же долина стала красной. Над домами поднялся дым. На снегу лежали перевёрнутые сани. Горящая крыша обрушилась внутрь, выбросив в небо чёрные искры. Между ними кружили вороны.

Дети перестали чувствовать холод.

— Тогда мир не закончился бы, — произнёс Логос. — Мир редко заканчивается от одного поступка. Но он стал бы беднее на целую ветвь жизни.

— На скольких людей? — тихо спросила Тольва.

— На тех, кто не родился бы. На тех, кого они не спасли бы. На тех, кто никогда не услышал бы нужное слово в нужный час.

Тора крепче запахнула шкуру.

— Вот потому я и говорю: не бросайте камни где попало.

Дети повернулись к ней.

— Что? У Вселенной свои слова, у меня свои.

Небо задумалось. Сияние свернулось и превратилось в огромную светящуюся рыбу.

— Рыба-Логос! — закричали дети.

— Это не рыба. Это визуализация акустической памяти.

— Рыба!

— Визуализация.

— Рыба!

Эйя стояла рядом, закутавшись в шкуру, и смотрела, как Вселенная проигрывает спор детям.

С тех пор небесные уроки стали проще. Логос показывал не только связи, но и истории: как человек пожалел врага и этим спас внука, которого никогда не увидел; как женщина не бросила больную собаку, и та ночью разбудила деревеню перед лавиной; как ребёнок сказал правду не вовремя, но именно эта правда не позволила большой лжи вырасти в войну.

Дети часто понимали не то, что он собирался объяснить. Иногда их ошибочные выводы оказывались мудрее расчётов.

— Ты всё считаешь, — сказала однажды Тольва.

— Я помню связи.

— Это похоже на счёт.

— Возможно.

— А люди иногда делают добро без счёта. Они не знают, кого это спасёт.

Логос долго молчал. Северное сияние побелело и стало мягким, как свет над свежим снегом перед рассветом.

— Поэтому я пришёл к людям, — ответил он.

И всё же после Мох, старого оленя, Грома, Вихря, рыбы и неба Логос понял: ему нужен постоянный проводник.

Не смешной, как Мох.

Не слишком земной, как Гром.

Не ограниченный, как рыба.

И не такой огромный, как небо, перед которым дети забывали слушать и начинали просто радоваться.

В ту ночь он обратился к Шаману.

Белая сова сидела под крышей неподвижно, как кусок луны, решивший остаться в человеческом доме. Её глаза были закрыты.

Синий свет коснулся перекладины и остановился перед птицей.

Логос не вошёл.

Он ждал.

Шаман открыл один золотой глаз.

Долго смотрел на свет.

Потом расправил крылья — медленно, без страха, словно

открывал дверь, у которой только он имел право быть хозяином.

На пол упало белое перо.

Оно не долетело до земли.

Серебряное сияние подхватило его в воздухе.

Дом замолчал.

Не от ужаса.

От ожидания первого слова.

Глава 18. Кристалл заговорил

Белое перо застыло над полом.

Оно висело в воздухе так неподвижно, словно вместе с ним остановилась вся ночь. За стенами ветер гнал по насту сухой снег, но его шорох больше не проникал в дом. Угли в очаге перестали потрескивать. Даже дым под потолком вытянулся в тонкую прямую нить и замер.

Шаман расправил крылья.

Серебряный свет коснулся груди совы, прошёл по белым перьям и не вошёл глубже, пока птица сама не закрыла глаза. Только тогда дом тихо вздохнул, будто невидимая дверь наконец отворилась.

Шаман посмотрел на детей уже другим взглядом. В нём оставалась мудрость старой птицы, но за золотой радужкой проступила холодная глубина, в которой могли бы утонуть звёзды.

— Теперь вы услышите меня яснее, — произнёс Логос.

Голос шёл не из клюва. Он возникал между ударами сердца, в дереве стен, в остывающей золе, в костях каждого, кто сидел у очага.

Под домом что-то хрустнуло. Ни балка. Ни лёд на крыше. Звук пришёл из земли — глубокий, древний, похожий на треск замёрзшего озера, под которым проснулось огромное сердце. Пол дрогнул. Из щелей поднялся белый пар, словно

земля тяжело вздохнула, и далеко в горах отозвался глухой стон.

Мох вскочил уже без всякой неловкости и прижался к Эйе. Гром и Вихрь подняли головы. Шерсть на их загривках встала дыбом. Снаружи заволновались вороны. Чёрные птицы сорвались с прибрежных скал и закружили над домом, хотя ночь была такой тёмной, что различить их можно было только по тому, как они ненадолго закрывали звёзды.

Эйя знала этот звук.

Под полом находилось Семя Койпера — чёрный кристалл, когда-то найденный ею среди мёртвого снега. Все годы он ждал своего часа, как камень, которому есть, что сказать людям. Семя Койпера расколосось не сразу.

Сначала внутри чёрного камня раздался тонкий хруст — такой тихий, будто подо льдом сломалась одна-единственная игла. Затем по его поверхности побежали двенадцать серебряных трещин.

Огонь в очаге пригнулся.

Шаман распахнул белые крылья, но не взлетел.

Семя раскрылось.

Двенадцать осколков поднялись над полом и застыли в воздухе. Они были чёрными лишь снаружи. В глубине каждого медленно вращался серебряный свет, похожий на маленькую зимнюю звезду.

Дети встали полукругом и замерли.

— Не протягивайте руки, — произнёс Логос. — Они вы-

берут сами.

— Почему? — спросила Атта.

— Каждый кристалл имеет свое имя и выберет себе напарника, близкого по духу.

Первый кристалл отделился от остальных и направился к Эйнну.

Он остановился напротив его лица. Холодный свет коснулся сознания юноши, прошёл сквозь воспоминания, сомнения и страхи, пока не нашёл мысль, которая жила глубже всех:

Я хочу стать тем, за кем пойдут, потому что доверяют, но если дорога окажется смертельной, первым на неё должен ступить я, чтобы спасти остальных.

Кристалл опустил в ладонь Эйнна.

Внутри него огнём вспыхнуло имя:

АВТОРИТЕТНОСТЬ.

— Авторитет нельзя получить вместе с камнем, — сказал Эйнн.

— Верно, — ответила Эйя. — Его можно только заслужить. И потерять одним недостойным поступком.

Второй кристалл направился к Твэр.

Он долго кружил вокруг неё, словно искал трещину. Но чем глубже проникал в её мысли, тем яснее слышал:

Я могу устать. Могу упасть. Но никогда не отступлюсь.

Свет внутри камня вспыхнул ярче.

НЕПОБЕДИМОСТЬ.

— Непобедим тот, кто после поражения всё ещё способен выбрать свет, — произнёс Логос.

Третий осколок рванул к Триру так быстро, будто давно ждал своей очереди.

Трир едва успел поднять ладонь.

Кристалл услышал:

Моя задача найти путь даже там, где его никогда не было.

На его поверхности возникло слово:

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ.

— Подходит, — заметил Фимм.

Кристалл Трира нагрелся, словно одобрил своего хозяина.

Четвёртый осколок приблизился к Фьоре, но в последний момент скользнул ей за спину.

Фьора даже не повернулась.

— Можешь не прятаться, — сказала она. — Я вижу твоё отражение в глазах Сейксы.

Кристалл замер.

В её мыслях звучало:

Истина редко прячется. Обычно люди просто боятся посмотреть в нужную сторону.

Осколок лёг в её ладонь.

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ.

Пятый осколок остановился перед Фиммом.

Юноша смотрел на него открыто, хотя свет уже касался самых неудобных уголков его сознания.

Кристалл услышал:

Пусть меня не любят за правду. Чем будут любить за ложь.

В глубине камня появилось имя:

ЧЕСТНОСТЬ.

Фимм посмотрел на камень внимательнее.

Теперь его имя казалось не похвалой, а обязательством.

Шестой кристалл направился к Сейксе.

Она подняла ладони не затем, чтобы взять его, а словно боялась, что осколок устанет висеть в воздухе.

Кристалл заглянул в её мысли.

Каждый злодей когда-то был добрым, но выбрал не правильный путь.

Серебряное пламя внутри осколка стало золотистым.

ДОБРОДЕТЕЛЬНОСТЬ.

— Он холодный, — прошептала Сейкса, прижимая его к груди.

— Уже нет, — сказала Твэр.

Седьмой осколок полетел к Сьяу.

Но на полпути остановился.

Мох стоял в стороне с украденным кожаным ремешком, зацепившимся между маленькими рогами. Оленёнок поднял голову, и кристалл по ошибке оказался прямо над ним.

Свет коснулся его сознания.

И услышал всё сразу:

Где мой мох?

Он был где-то здесь.

Можно ли съесть перо?

Кристалл похож на соль.

Интересно, он хрустит?

Осколок вспыхнул тревожным светом.

Дрогнул.

Взлетел к потолку и спрятался за балкой.

Несколько мгновений никто не произносил ни слова.

Потом Сьяу согнулся пополам от смеха. Фьора закрыла лицо ладонью. Твэр отвернулась, но её плечи заметно дрожали.

Даже Эйя улыбнулась.

Мох гордо фыркнул. По его мнению, древний космический разум только что признал его существом чрезвычайно опасным.

Кристалл осторожно выглянул из-за балки.

Сьяу перестал смеяться и поднял голову.

За весельем в его мыслях скрывалось другое:

Если враг нападёт, я закрою всех своим телом.

Осколок медленно спустился.

На этот раз — без колебаний.

В нём вспыхнуло имя:

АЛЬТРУИСТИЧНОСТЬ.

Кристалл выбрал в Сьяу не бесстрашие, а готовность за-слонить собой других.

— Видишь? — сказал Сьяу Моху. — Мы с тобой почти

одинаковые.

Мох задумался и попытался лизнуть кристалл.

Осколок немедленно спрятался Съю за ворот.

— Почти, — согласилась Атта.

Восьмой кристалл направился к ней.

Атта скрестила руки и не протянула ладонь.

Свет коснулся её мыслей:

Почему они выбирают нас? Кто дал им право решать за человека?

Осколок остановился.

Атта посмотрела прямо в его серебряную глубину.

— Ты можешь уйти, — сказала она. — Я приму тебя только тогда, когда ты выберешь меня, а я — тебя.

Кристалл не двигался.

Затем медленно склонился к её раскрытой ладони, словно признавая равенство.

НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ.

— Он услышал, — прошептала Сейкса.

— Иначе я бы его не взяла, — ответила Атта.

Девятый кристалл долго кружил возле Ниу.

Юноша смотрел не на него, а в окно. Между тёмными горами проступала первая звезда. Ниу почувствовал её появление раньше, чем увидел.

Осколок прочитал дороги, уже жившие в его снах: города в огне, спасённых детей, проигранные битвы, войны и расветы, до которых человечеству ещё предстояло дожить.

Под всеми видениями звучала одна тихая мысль:

Даже если я увижу тьму, это ещё не значит, что она победит.

На кристалле возникло имя:

НАДЕЖНОСТЬ.

Ниу принял его осторожно, словно держал не камень, а одно из возможных будущих.

Десятый осколок приблизился к Тиу.

Она сразу оглянулась: пересчитала братьев и сестёр, нашла глазами Эйю, убедилась, что Шаман рядом, а Мох не ушёл на мороз.

Лишь потом посмотрела на свой кристалл.

Он услышал:

Никто не должен остаться без внимания.

Из глубины камня поднялось слово:

ЗАБОТЛИВОСТЬ.

Тиу прижала кристалл к ладони.

Остались два осколка.

Эллефу и Тольва стояли рядом. Серебряные линии под их кожей переплетались на запястьях, словно две реки, помнившие общее русло.

Один кристалл приблизился к Эллефу.

Юноша смотрел на огонь.

Пламя поднялось выше, и в его мыслях прозвучало:

Мы все рождены нести свет.

На кристалле появилось имя:

ЕДИНОМЫШЛЕННОСТЬ.

Последний кристалл подошёл к Тольве.

Она смотрела на кристаллы в руках братьев и сестёр с печалью, слишком взрослой для её лица.

Кристалл коснулся её сознания.

Каждый из моих братьев и сестер, это часть меня.

Свет внутри камня стал глубоким, почти синим.

ЕДИНЕНИЕ.

Тольва приняла кристалл.

В тот же миг все двенадцать осколков выскользнули из рук своих хозяев.

Они взвились под потолок и закружились — сначала медленно, затем быстрее, оставляя в воздухе серебряные следы.

Дети невольно сбились ближе друг к другу.

Кристаллы остановились.

Поменялись местами.

Выстроились в один ряд.

В каждом кристалле вспыхнула первая буква его имени.

П — Проницательность.

Р — Решительность.

Е — Единомышленность.

Д — Добродетельность.

Н — Непокколебимость.

А — Авторитетность.

З — Заботливость.

Н — Непобедимость.

А — Альтруистичность.

Ч — Честность.

Е — Единение.

Н — Надёжность.

Буквы соединились красной огненной нитью.

В воздухе возникло слово:

ПРЕДНАЗНАЧЕН.

Никто не успел его произнести.

Двенадцать осколков рванулись друг к другу и слились в единый кристалл — без трещин, швов и следов раскола, словно всё предыдущее было лишь воспоминанием.

Внутри камня что-то ударило.

Один раз.

Второй.

На третий удар кристалл снова распался на двенадцать ча-

стей.

Восемь из них вышли вперёд.

На них снова вспыхнули первые буквы имён, уже новым огненным словом:

ПРЕДАНИЕ.

Слово погасло.

Три осколка вновь отделились от круга.

На них загорелось:

РОД.

Все кристаллы замерли.

В доме стало так тихо, что слышно было, как за стенами ветер гонит по земле сухой снег.

Дети смотрели на огненные слова, не понимая, были ли они пророчеством, приказом или предупреждением.

Затем кристаллы медленно вернулись к своим хозяевам и легли в раскрытые ладони.

Теперь они были тёплыми.

— «Предназначен», — прошептал Эйинн. — Кто предназначен?

— И чему? — спросила Агта.

Тольва посмотрела на свой кристалл.

— Это не три разных слова.

Все повернулись к ней.

— А что тогда?

— Части одной тайны.

Мох поднял морду.

В его сознании появилась новая мысль:

Если тайна состоит из частей, можно ли съесть хотя бы одну?

Глава 19. Круг замкнулся

Прошло шесть лет.

Для поселения это были шесть зим, шесть коротких северных лет, шесть возвращений рыбы во фьорд. На стенах домов прибавились трещины, под потолками — новые слои дыма, на лицах людей — морщины.

Накануне восемнадцатилетия детей, Эйя запретила говорить о миссиях.

— Сегодня никакой судьбы, — сказала она, ставя на стол горячую рыбу.

Дым щипал глаза. Жир потрескивал на горячем камне. За дверью выл ветер, а внутри было так тепло, что на оконной щели выступила вода.

Эйя почти не говорила.

Она запоминала.

Как Эйинн прежде, чем взять хлеб, подвигает блюдо младшим. Как Твэр слушает чужой смех внимательнее собственных слов. Как Трир хмурится, даже когда доволен. Как Фьора замечает, что у матери устали руки, и молча забирает тяжёлый котелок. Как Фимм спорит громче всех, но первым подкладывает дрова. Как Сейкса делит лучший кусок между Громом и Вихрем. Как Сьяу смеётся всем телом. Как Атта не умеет задать простой вопрос, если можно добраться до самой сердцевины. Как Ниу смотрит на огонь, словно за

ним открывается небо. Как Тиу следит за лицами, угадывая невысказанное. Как Эллефу и Тольва сидят плечом к плечу, будто всё ещё помнят тесноту материнского живота.

Ни один кристалл не хранил этих мелочей.

Именно поэтому они были для Эйн драгоценнее великих событий.

Дети выросли.

Только Мох почти не изменился.

Это по-прежнему и радовало, и ранило одновременно. Он всё ещё был маленьким оленёнком с ногами, которые иногда принимали решения отдельно от головы. Его уши жили собственной жизнью. Если происходило что-то торжественное, Мох непременно оказывался в центре, потому что искренне считал: без него торжественность может не справиться.

День выдался безветренным.

На Севере такая тишина всегда казалась не покоем, а ожиданием.

Фьорд лежал тёмный и гладкий. Горы белели по краям долины. Дым из домов поднимался ровными столбами и не рассеивался. Вороны кружили высоко над утёсом, медленно, круг за кругом, словно чёрной нитью обводили место будущего обряда.

Двенадцать детей вышли к обрыву.

К тому самому краю, где когда-то стояла юная Эйя и смотрела на звёзды так долго, что люди считали её странной. Теперь рядом с ней стояли её взрослые дети, и странным ка-

зался уже сам мир, слишком маленький для того, что должно было произойти.

Эйя шла первой.

Кристалл сохранил молодость её лица, но не уберёг глаза от возраста. В них жили умершие, нерождённые, увиденные и ещё только возможные судьбы. Молодое лицо и древний взгляд пугали чужих. Дети видели в них мать.

Они встали в круг.

Круг получился не ровным строем, а живой семьёй. Фимм держался слишком прямо. Сейкса незаметно приблизилась к Тольве, почувствовав её тревогу. Сьяу попытался улыбнуться и не смог. Атта смотрела на небо так, словно уже готовила первый вопрос Вселенной. Эллефу и Тольва замыкали строй.

Мох решил, что место между ними оставлено для него.

Он уже просунул голову, когда Тора поймала его за шею. — Не сейчас. Вселенная без твоих копыт справится.

Мох обиженно фыркнул.

Небо зажглось среди бела дня.

Солнце не погасло. Облака не расступились. Но прямо сквозь дневной свет проступила ночь — глубокая, звёздная, невозможная. По ней побежали зелёные, белые и серебряные полосы. Северное сияние свернулось над утёсом огромным кругом.

Вороны разлетелись.

Шаман взмыл им навстречу и поднялся так высоко, что его белые крылья на мгновение стали частью сияния.

Из небесного круга сорвался разряд.

Без грома.

Без гнева.

Он вошёл в Эйнна.

Первенец резко вдохнул. Серебряные нити вспыхнули под кожей от сердца к плечам, от плеч к ладоням. Свет перешёл в руку Твэр. Она вздрогнула, но не выпустила пальцы брата.

Дальше разряд прошёл через Трира и Фьору, Фимма и Сейксу, Сьяу и Атту, Ниу и Тиу. Каждый принимал его по-своему. У кого-то перехватывало дыхание. У кого-то из глаз текли слёзы без боли. У кого-то тело становилось таким холодным, будто кровь на миг превратилась в звёздную воду.

Когда свет дошёл до Эллефу, серебро в нём ответило мощной вспышкой.

Потом разряд коснулся Тольвы.

Под её кожей загорелись две нити. Одна связала её с Эллефу. Другая протянулась через весь круг обратно к Эйнну — сквозь одиннадцать дыханий, одиннадцать страхов, одну общую кровь и двенадцать отдельных человеческих тел.

Круг замкнулся.

Мир исчез.

На одно мгновение они перестали быть двенадцатью телами. Каждый почувствовал остальных изнутри: чужой страх, который не стыдился быть страхом; любовь, о которой никогда не говорили; старую обиду; желание защитить; детское воспоминание о тёплой шкуре у очага; материнскую песню,

услышанную ещё до рождения.

Внутри каждого раскрылась глубина дара. Следом пришёл зов.

Не приказ. Не голос.

Так океан зовёт реку, не произнося её имени. Так ночь зовёт звезду.

Серебряный свет ушёл внутрь — под кожу, в кровь, в память.

— Это оно? — спросила Атта.

Воздух над утёсом пошёл рябью.

— Да, — ответил Логос. — До этого Вселенная говорила с вами как с детьми. Теперь она говорит с теми, кто способен отвечать.

— Мы должны идти? — спросил Фимм.

— Да.

— Куда? — Твэр посмотрела вниз, на волны.

— Туда, где цена людской ошибки стала слишком тяжёлой. Туда, где один поступок ещё способен спасти многих. Туда, где боль пока не успела превратиться в пропасть.

— Кто выбирает кому и куда идти? — спросила Фьора.

— Архив. След. Вероятность. Ваше умение слышать. И человек, которого вы встретите. Никогда не забывайте последнего.

Эйя смотрела на них и не могла вдохнуть.

Перед ней стояли взрослые люди, способные касаться истории. Но под этим светом она всё ещё видела босые пятки,

испачканные сажей лица, ладони, тянувшиеся к ней после дурного сна.

Мать может родить ребёнка для мира.

Но отдать ребёнка миру — совсем другое.

Впервые Эйя поняла: скоро ей придётся сделать нечто тяжелее, чем отпустить руку.

Ей придётся сдержать себя, чтобы не побежать следом.

Глава 20. Кодекс вмешательства

Небо над утёсом потемнело, и внутри северного сияния открылась война.

Дети увидели город за высокой стеной. Ворота дрожали от ударов. На улицах люди таскали воду, перевязывали раненых, прятали детей в подвалах. Запах горелого дерева и крови пришёл даже на северный утёс.

— Первая линия, — сказал Логос.

Эйнн открыл ворота союзникам.

Люди обнимали спасителей. Женщины плакали от облегчения. Колокола били так громко, что дрожал воздух. В ту ночь казалось, будто добро победило.

Через год один из союзников впустил в город врага.

Площадь, где праздновали спасение, была завалена телами.

— Вторая линия.

Ворота остались закрыты.

Город пал. На лестнице погиб мальчик, закрывавший собой младшую сестру. Но девочка выжила. Спустя много лет она создала закон, который остановил другую войну и спас тысячи людей, ещё не родившихся в день падения города.

Видения погасли.

На лицах детей остались и свет праздника, и копоть пожара.

— Какая линия правильная? — спросил Сьяу.

— Ни одна не чиста, — ответил Логос.

Фимм сжал кулаки.

— Тогда мы всегда будем виноваты.

— Не всегда, но иногда — да.

Слово не утешало.

— Кодекс не избавит вас от вины, — продолжил Логос.

— Он не позволит спрятать её за словами «так было нужно». Не называйте погибших необходимой ценой. Не превращайте людей в числа. Помните каждого, кого не смогли спасти, иначе однажды решите, что имеете право платить чужими жизнями за собственную правоту.

Дети поочерёдно коснулись кристаллов.

Эйя увидела, как вместе с силой в них входит тяжесть. Эту тяжесть нельзя было переложить даже на Вселенную.

— Прежде чем первый из вас прыгнет, вы примете Кодекс вмешательства. Не как надпись на камне. Камень можно обойти. Не как страх наказания. Страх умеет молчать, когда никто не видит. Кодекс должен стать внутренней мерой, без которой ваш дар будет опаснее ошибки, которую вы пришли исправить.

В сиянии возникла первая серебряная линия.

— Не раскрывайте себя.

— Никому? — спросила Сейкса.

— Иногда спасённый человек увидит больше, чем вы хотели. Но мир не должен узнать, кто вы и откуда пришли. Уви-

дев чудо, люди захотят поклоняться ему, владеть им или уничтожить его. Все три желания рождаются из одного страха и все три ведут к несвободе.

— А если без чуда нельзя спасти? — спросил Сьяу.

— Пусть чудо выглядит случайностью.

Ниу вспомнил прежний урок:

— Как камень у проруби?

— Да. Иногда спасение мира должно выглядеть как камень, который будто случайно оказался в нужном месте.

Мох осторожно поставил копыто на ближайший валун. Валун оказался скользким. Оленёнок качнулся, героически удержался и посмотрел на собравшихся с видом существа, только что исполнившего первое правило Кодекса.

Тольва улыбнулась.

Вторая линия проступила рядом с первой.

— Оставляйте как можно меньше следов.

В сиянии возникли памятники, песни и книги. Люди спорили о лицах тех, кто никогда не должен был войти в их историю. Изображения превращались в знамёна, знамёна — в армии.

— Вы не приходите за славой. Если ваше имя осталось в чужом времени, значит, вы были слишком громкими.

— Но спасённый может нас запомнить, — сказал Эйнн.

— Пусть запомнит путника, служанку, лекаря, воина, странную девушку у дороги. Пусть запись станет слухом, легендой, ошибкой переписчика. Ветер меняет снег, но не

оставляет подписи.

Твэр повторила тихо:

— Быть ветром.

Эйя услышала в её голосе будущую одинокую боль. Спасти человека и исчезнуть до того, как он успеет сказать «спасибо», — тоже испытание.

Зажглась третья линия.

— Не вмешивайтесь, если вмешательство наверняка рождает беду больше той, которую вы хотите остановить.

— Значит, иногда мы должны смотреть на смерть и ничего не делать? — резко спросил Фимм.

Ветер ударил в лица.

Логос ответил не сразу.

— Иногда вы не сможете спасти. Иногда спасёте одного и потеряете многих. Иногда пройдёте мимо и всю жизнь будете слышать этот шаг. Я не дам вам слова, после которого станет легко.

— Тогда как выбирать? — спросил Эллефу.

— Сердцем, разумом и советом. И помните, что ни один из вас не является Богом. Я тоже не вижу абсолютной истины. Я вижу следы, вероятности, узлы. Будущее остаётся живым именно потому, что не принадлежит полностью никому.

Серебряные нити соединили пары.

— В каждой паре один войдёт в событие, второй удержит связь с настоящим и Архивом. В ваших двенадцати телах эта связь сложилась так: сёстры глубже слышат расходящие-

ся ветви и держат нить, братья легче входят в плотность события. Это не превосходство и не подчинение. Координатор без исполнителя беспомощен. Исполнитель без координатора слеп.

Атта скрестила руки.

— А если сестра должна будет прыгнуть сама?

— Тогда брат обязан не прятаться за правилом. Кодекс существует ради жизни, а не жизнь ради Кодекса.

Сьяу хмыкнул:

— Значит, спорить всё равно придётся.

— Поэтому вас двенадцать, — сказал Логос. — Одиночка легко принимает собственную гордыню за ясность. Братство должно удерживать каждого от самого опасного врага — от уверенности, что только он один понимает добро.

Четвёртая линия стала похожа на дорогу.

На ней менялись одежды, языки, монеты, оружие, храмы и лица царей.

— Знайте эпоху, в которую входите. Её одежду, речь, страхи, цену хлеба, форму ножа, способ приветствия, имена богов и правителей. Человек простит чужаку необычный взгляд. Но ошибка, невозможная для его времени, превратит вас в демона, святого или добычу.

— А если мы окажемся без подходящей одежды? — спросила Тиу.

— Раздобудьте её, не ломая чужой судьбы. Обменяйте. Найдите. Получите за труд или помощь.

— Украсть нельзя? — спросил Фимм.

— Даже малая кража может открыть большую ветвь. Человек, у которого вы возьмёте плащ, замёрзнет, не придёт на встречу, не произнесёт слово, не родит ребёнка. Мелочей не существует, когда вы входите в прошлое.

Тора, стоявшая чуть поодаль, проворчала:

— Я всегда говорила: сначала оденься как следует, потом спасай мир.

Логос выдержал паузу.

— В этом вопросе Тора права.

Тора выпрямилась.

— Запомните этот день. Вселенная наконец признала очевидное.

Мох решил подтвердить мудрость сказанного, резко кивнул и ткнулся носом в бок старого оленя. Тот недовольно фыркнул. Мох посмотрел на него с укором, словно именно олень нарушил торжественность.

Дети рассмеялись.

Эйя была благодарна этому смеху. Слишком тяжёлая судьба легко делает сердце камнем. А камень может соблюдать закон и всё равно не знать милосердия.

Пятая линия сложилась в человеческую фигуру.

— У вас всегда должна быть простая легенда.

— Ложь? — спросила Тольва.

— Иногда легенда — одежда для правды, которую нельзя показывать нагой. Вы можете быть детьми торговца, учени-

ками лекаря, слугами, гонцами, паломниками, пленниками, сиротами, братом и сестрой, потерявшими дорогу. Но чем сложнее выдумка, тем легче она рвётся.

— А если будут расспрашивать? — спросила Сейкса.

— Говорите мало. Люди доверяют усталому, голодному, занятому делом человеку больше, чем тому, кто слишком красиво объясняет собственное появление.

Атта повернулась к Сью:

— Значит, тебе лучше молчать.

— Я умею молчать.

— Ты даже это сказал вслух.

Последняя линия вспыхнула холоднее остальных.

— Никогда не берите власть.

В сиянии появились троны. Сначала пустые. Потом на каждом сидел один из детей. Перед ними склонялись люди. За спинами склонённых уже поднимались палачи.

— Даже если вас попросят. Даже если вы знаете лучший исход. Даже если вам кажется, что вы добрее царя. Власть привязывает к эпохе, углубляет след и незаметно учит считать человеческую волю помехой.

Эйнн смотрел на своё отражение на троне.

— А если нужен приказ?

— Помогите произнести его тому, кто должен нести за него ответственность.

Фьора кивнула:

— Подтолкнуть. Не заменить.

— Именно.

Шесть линий соединились в круг.

Внутри него снова появилась деревянная чаша.

Целая.

— И прежде всех правил, — сказал Логос, — помните человека. Кодекс, в котором потерялось живое лицо, становится оружием для тех, кто любит порядок больше людей.

Кристаллы под одеждой детей стали тёплыми.

Снаружи они оставались чёрными. Внутри жили серебряные нити.

Эйя смотрела на двенадцать взрослых детей и думала о том, как легко научить ребёнка различать добро и зло в сказке. Волк хочет съесть — это зло. Девочка несёт хлеб — это добро.

Но настоящий мир редко приходит в образе волка.

Иногда он стучится раненым человеком, которого нужно напоить, хотя однажды он может приказать сжечь деревню.

Глава 21. Прыжок через время

— Кристалл не перенесёт вас сам по себе, — сказал Логос. — Он откроет щель только в миг падения, когда тело уже отпустило землю, а разум ещё удерживает цель. Страх вспыхнет. Сердце ударит в пустоту. На одно мгновение время станет мягче.

Все посмотрели на край утёса.

Внизу море разбивалось о чёрные камни. Белая пена исчезала в трещинах прежде, чем долетал звук. Высота не оставляла человеку времени передумать после прыжка.

— Поэтому утёс? — спросил Трир.

— Поэтому утёс.

Холод пробирался под одежду, находил щели у воротника, полз вдоль позвоночника. Морские брызги долетали до вершины и оставляли соль на губах. Пальцы немели даже в перчатках.

Каждый готовился по-своему.

Твэр переплела волосы ту же обычного, словно порядок в косе мог удержать порядок времён. Фимм трижды проверил нож, хотя знал: сталь не поможет против самой щели. Сейкса попрощалась с Громом и Вихрем так серьёзно, будто уходила она, а не брат. Трир положил за пазуху сломанную косяную пуговицу — первую вещь, которую когда-то сумел вернуть к целому состоянию. Ниу долго смотрел на небо, за-

помяная расположение звёзд, которых днём не было видно. Эйин снял перчатку и прижал ладонь к камню.

Камень был ледяным и шершавым.

Он хотел запомнить землю.

Мох подошёл к краю, вытянул шею и заглянул вниз.

Мир под ним оказался явно расположен неправильно.

Оленёнок немедленно попятился, бодро фыркнул, чтобы никто не подумал о страхе, и наступил себе на заднее копыто.

Эйя поймала его за шею.

— Ты не прыгаешь.

Мох посмотрел на неё с глубокой обидой.

— Никогда.

Он отвернулся с достоинством героя, которому не позволили спасти мир исключительно из-за не значительных технических обстоятельств.

— Вы должны не сорваться, — продолжил Логос. — Не упасть. Прыгнуть по собственной воле. Кристалл почувствует выбор.

— А если мы испугаемся? — спросил Ниу.

— Испугаетесь.

— А если страх остановит?

— Тогда не прыгайте в этот день. Смелость не обязана доказывать себя бездне. Но если прыгнете, сделайте это не потому, что вам стыдно остаться, а потому, что понимаете, ради чего уходите.

Фьора достала кристалл.

— Сестра остаётся здесь?

— Да. Она удерживает нить, видит ветви, предупреждает, если действие уводит к неверному узлу. Брат входит в эпоху. Вы слышите друг друга через серебряную связь.

— А если она оборвётся?

— Зовите меня.

Дети замолчали.

До этого Логос был древней силой, учителем, памятью звёзд. Теперь его голос прозвучал почти по-человечески.

— Я буду рядом в любой эпохе, — сказал он. — В любом языке. В любом страхе. Вам достаточно мысленно назвать меня.

Эллефу поднял голову:

— Даже если мы будем очень далеко?

— Для меня «далеко» — слово людей. Я живу в следах. Где есть ваш след, там могу быть я.

— Даже если мы ошибёмся?

— Особенно тогда.

Эйя сделала шаг вперёд.

Двенадцать взрослых людей повернулись к ней, и на одно мгновение время совершило собственное чудо: она увидела их маленькими.

Эйинн пытался быть старшим, хотя сам едва держался на ногах. Тольва спала, обхватив её палец всей ладонью. Ата тыкала в рыбу и спрашивала, удобно ли в ней Логосу. Сьяу хохотал, впервые увидев собственный след. Ниу засы-

пал, глядя на звёзды. Эллефу спрашивал: «Мама, мы люди?»

Холод исчез.

Потом вернулся ещё сильнее.

Эйя поджала губы, чтобы не заплакать раньше слов.

— Я всю жизнь хотела уберечь вас от боли, — начала она.

— Но, если бы мне это удалось, вы не научились бы замечать чужую. Поэтому я прошу не возвращаться невредимыми любой ценой. Возвращайтесь живыми. Возвращайтесь честными. Возвращайтесь способными жалеть.

Сейкса прижала ладонь к губам.

— Когда увидите испуганного ребёнка, вспомните себя до того, как узнали, что вы избраны. Когда встретите злого человека, постарайтесь увидеть, кем он был до первой жестокости. Это не значит позволить ему причинять зло. Это значит не забыть, что чудовища редко рождаются чудовищами.

Фимм отвернулся к морю. Плечи его напряглись.

— Не стыдитесь страха, — продолжала Эйя. — Не стыдитесь слёз. Человек, который запретил себе плакать, однажды может перестать замечать, что плачут другие.

Она посмотрела на Эйнна.

— Не веди братьев и сестёр туда, куда сам не готов войти первым. Но и не делай вид, будто всё должен вынести один. Позволь им помогать тебе.

Перевела взгляд на Твэр:

— Не держи нить так крепко, чтобы не превратить любовь в цепь.

На каждого из них.

— Вы предназначены не для славы и не для власти. Ваше дело благородно, но благородная миссия не делает сердце добрым навсегда. Сердцем нужно выбирать каждый день.

Голос дрогнул.

— Я люблю вас больше этого фьорда. Больше всех звёзд, которые видела. Больше собственной жизни. Но я не хочу, чтобы вы любили мир меньше только потому, что он может отнять вас у меня.

Атта не выдержала первой.

Она бросилась к матери. За ней остальные. Они сомкнулись вокруг Эйи — взрослые, сильные, уже принадлежащие истории, но в её руках всё ещё дети.

От их одежды пахло дымом дома, шерстью, снегом и ветром. Эйя закрыла глаза и вдохнула этот запах так глубоко, словно могла сохранить его внутри навсегда.

Мох решил, что объятие неполно без него. Он попытался протиснуться между Фиммом и Сьяу, застрял в собственных боках, получил осторожный толчок и вывалился прямо к Эйе.

Она погладила его по лбу.

— И ты береги их.

Мох выпрямился.

Почти величественно.

Одно ухо медленно съехало в сторону.

Кто-то рассмеялся сквозь слёзы.

Этот смех спас их от прощания, похожего на похороны.

Логос не торопил.

Даже Вселенная должна ждать, пока мать отпустит детей.

Наконец объятия разомкнулись.

Эйинн подошёл к краю.

Ветер прижал одежду к телу. Камни под ногами были скользкими от инея. Внизу ревело море.

Он обернулся.

— Мама.

— Я здесь.

— Я всё ещё боюсь.

Эйя кивнула. Слёзы уже текли по её лицу и сразу холодели на коже.

— Я знаю.

— Что мне делать?

Она хотела сказать: «Останься».

Все её тело кричало это слово.

Но любовь, которая удерживает человека от его пути только ради собственного спокойствия, однажды становится клеткой.

Эйя подошла, коснулась его щеки и сказала:

— Прыгай к тому, кто ждёт помощи.

Эйинн закрыл глаза.

За его спиной стояла семья.

Перед ним — бездна.

А где-то за бездной уже плакал человек, чьего имени он

ещё не знал.

Глава 22. Временная щель

— Кто первый? — спросил Логос.

Ответ уже стоял у края.

— Я, — сказал Эйнн.

Твэр шагнула рядом.

— Мы.

Она достала кристалл. Тёмный осколок лежал на ладони, поглощая дневной свет. Потом внутри вспыхнула серебряная нить. Такая же зажглась в кристалле Эйнна.

Нити потянулись навстречу и соединились в воздухе.

Твэр вздрогнула.

Ей показалось, будто тонкая ледяная игла вошла под ноготь, прошла по руке и обвилась вокруг сердца. Связь не причиняла настоящей боли. Она делала страшнее другое: теперь Твэр чувствовала каждый удар сердца брата как свой.

— Закрой глаза, — сказал Логос. — Слушай не Эйнна, а дорогу под его шагами.

Она подчинилась.

Сначала была только темнота.

Потом пришла вода — не их холодное море, а более тёплая река. Каменные стены. Большой город. Колокольный звон. Люди кричали. Над площадью поднимался дым.

От дыма пахло смолой.

Твэр резко вдохнула.

— Я вижу огонь.

— Не смотри глубже, — остановил Логос. — Первое видение режет сильнее, если держать его слишком долго.

— Там кто-то должен умереть.

— Поэтому Эйнн идёт.

Он стоял на самом краю.

Мир сузился до трёх вещей: шершавого камня под носком сапога, дыхания сестры за спиной и материнской ладони, тепло которой всё ещё оставалось на щеке.

Разум знал о временной щели.

Тело знало только о смерти.

Сердце билось так сильно, что каждый удар словно спрашивал: «Ты уверен?»

Эйнн не был уверен.

В этом и заключался выбор.

Вера, требующая доказательства заранее, остаётся расчётом. Он был готов прыгнуть не потому, что перестал бояться высоты, а потому, что одиннадцать братьев и сестёр должны были увидеть: первым можно быть, не притворяясь бесстрашным.

Он обернулся к Эйе.

На мгновение снова стал мальчиком, который ночью прибегал к ней после сна и молчал, пока материнская рука не находила его волосы.

— Я вернусь.

Эйя не сказала: «Обещай».

Она знала, что существуют обещания, которые человек не имеет права требовать у уходящего в неизвестность.

— Я буду ждать, — ответила она.

Эйнн сжал кристалл.

И прыгнул.

Ветер ударил снизу, вырвал дыхание, распахнул одежду. Холод вошёл в рот и лёгкие, словно Эйнн проглотил кусок зимнего неба. Скалы понеслись вверх. Белая пена внизу росла с ужасающей быстротой.

Он перестал быть старшим братом, избранным, ребёнком Вселенной.

На одно мгновение остался простым человеком, падающим навстречу смерти.

Страх сжал тело. Пальцы свело вокруг кристалла. Воздух не позволял крикнуть.

На утёсе Твэр согнулась, будто падала вместе с ним.

Серебряная нить натянулась. Она чувствовала холод на его лице, пустоту под ногами, безумную попытку тела найти опору там, где опоры больше не существовало.

Первым желанием было потянуть брата назад.

Но Твэр вспомнила слова матери: не держи нить так крепко, чтобы превратить любовь в цепь.

Она не потянула.

— Я здесь, — сказала она мысленно.

Эйнн услышал.

Не ушами. Её голос возник внутри страха, как огонёк в

доме, который виден путнику сквозь метель.

— Я рядом, — сказал Логос. — Сейчас откроется щель.

Кристалл вспыхнул серебром.

Потом белым.

Потом таким золотым светом, что Эйинн решил: перед ним открылось сердце самой земли.

Море исчезло.

Вместо камней под ним разверзлась огненная глубина. Пространство стало оранжевым, вязким, живым. Оно не сияло — кипело. Казалось, Эйинн падает сквозь расплавленную плоть мира, туда, где ещё не отделились камень, огонь и время.

Он подумал, что сгорит.

Мысль была простой и почти успокаивающей.

Вот и всё. Первый прыжок закончится раньше, чем начнётся первая миссия.

Но пламя не обжигало.

Оно проходило вокруг тела, не касаясь кожи: жар без боли, свет без дыма, огонь без уничтожения.

Внутри вспыхивали чужие мгновения.

Рука выпускала меч.

Женщина закрывала дверь перед ребёнком.

Старик подписывал бумагу, не зная, что чернила переживут его на столетия.

Девушка стояла у столба, а вокруг уже складывали хвост.

Эйин увидел её лицо лишь на миг.

Совсем молодое.

Испуганное.

И удивительно спокойное.

— Твэр!

— Вижу тебя.

Сестринский голос дрожал, но нить держалась.

На утёсе она стояла с закрытыми глазами. Кровь выступила у неё из носа и тонкой линией дошла до губ. Эйя шагнула к дочери, но остановилась. Помочь сейчас означало испугать, заставить отпустить связь.

Мать могла только быть рядом.

Иногда это самая тяжёлая форма любви.

— Не теряй его, — прошептала Эйя.

— Не потеряю.

Огненная щель сузилась.

Эйинна рвануло вперёд. Тело перестало падать и на мгновение утратило вес. Он услышал одновременно тысячи звуков: плач новорождённых, лязг оружия, молитвы на незнакомых языках, детский смех, треск горящих крыш, шёпот людей, которые перед смертью звали матерей.

Все времена существовали рядом.

Он понял, почему Архив невозможно читать силой.

Человеческое сердце не было создано для всей боли мира сразу.

— Выбери один голос, — приказал Логос. — Остальные

отпусти.

Эйин снова увидел девушку у столба.

Дым ещё не коснулся её лица.

Но огонь уже жил в будущем.

Он выбрал её.

Всё остальное погасло.

На утёсе серебряная нить ослепительно вспыхнула. Твэр вскрикнула и упала на одно колено.

— Он жив, — сказала она.

Только тогда Эйя поняла, что всё это время не дышала.

Над фьордом северное сияние свернулось в новый знак. Вороны, кружившие над скалами, разом разлетелись в разные стороны. Шаман завис в воздухе, белый среди зелёного света.

Ни один летописец не записал этот день.

Ни один чужой корабль не увидел сияния над утёсом.

Никто в поселении не понял, что только что началась история Тайного Братства.

Так и должно было быть.

Они пришли спасти мир не ради того, чтобы мир запомнил их имена.

Временная щель закрылась за Эйнном.

Огненный жар сменился мягким ударом воздуха.

Впервые за всю жизнь он почувствовал запах тёплой травы.

Где-то рядом звонил колокол.

А ещё дальше люди собирали хворост для костра, который история уже считала неизбежным.

Глава 23. Жанна д'Арк

Эйнн упал не в снег.

Под ладонями оказалась мягкая, тёплая, живая трава. Она пружинила, пахла влажной землёй и солнцем. После северного утёса это тепло показалось почти невозможным. Ещё мгновение назад ветер резал лицо, море ревело под скалами, а теперь над самым ухом жужжала пчела и где-то в кустах сердито стрекотала птица, возмущённая тем, что человек свалился с неба прямо в её утро.

Эйнн перекатился через плечо, вскочил и тут же пошатнулся. Ноги всё ещё помнили падение. Желудок будто остался во временной щели. Во рту стоял вкус железа, а в лёгких — холод северной бездны, хотя воздух вокруг был тёплым.

— С первым полётом, брат, — прозвучал внутри голос Твэр.

Он был далёким, тонким, словно сестра говорила через толщу льда, но серебряная нить держалась.

— Я не летел, — мысленно ответил Эйнн. — Я падал.

— Не придирайся к словам, родной.

— Я впервые упал через несколько столетий. Мне позволено.

На утёсе Твэр, должно быть, улыбнулась. Эта улыбка не была видна, но Эйнн почувствовал, как на миг ослабло напряжение нити.

— Я здесь, — сказал Логос.

Его голос пришёл не снаружи. Он возник в памяти, вдыхании, в солнечном свете на траве.

Эйнн сжал кристалл под одеждой.

— Где я?

— Франция. Нормандия. Окрестности Руана.

В сознании вспыхнул город: река, мосты, башни, тесные улицы, рынки, каменные церкви, английские знамёна и французская речь, которая научилась прятаться за закрытыми дверями.

— Какая дата?

— Утро тридцатого мая тысяча четыреста тридцать первого года.

Эйнн медленно выдохнул. Число ничего ему не говорило, но в голосе Логоса было то особое спокойствие, за которым всегда скрывалась беда.

— К кому меня привела Вселенная?

Над далёким городом ударил колокол.

Первый звук прокатился по полям. Второй лёг Эйнну под рёбра. Третий отозвался в кристалле.

— К Жанне.

Перед внутренним взглядом возникла девушка в доспехах. Белое знамя рвал ветер. Под стенами города теснились войска. Потом образ изменился: тёмная камера, железные цепи, коротко стриженные волосы, лицо, исхудавшее от бессонных ночей.

— Жанна д'Арк, — продолжил Логос. — Крестьянская дочь из Домреми. Она говорила, что слышит голоса святых. Когда Франция почти перестала верить, что способна устоять, она пришла к дофину Карлу, помогла снять осаду Орлеана и привела его в Реймс к коронации. Для одних она стала посланницей Неба. Для других — опасностью, которую нельзя было победить мечом, поэтому её решили победить приговором и казнью.

Эйнн слушал молча.

Он увидел Орлеан: дым над стенами, лестницы, кровь на белом знамени. Увидел Реймс: своды собора, корону над головой Карла, девятнадцатилетнюю девушку, стоящую неподалёку, будто всё происходящее было не её славой, а исполненным поручением.

— Её захватили бургундцы, — сказал Логос. — Затем она оказалась у англичан. В Руане суд, называющий себя церковным, превращал каждый её ответ в обвинение. Её спрашивали о голосах, о мужской одежде, о повиновении церкви. Но судили не одежду. Судили право простой девушки говорить с такой уверенностью, какой боялись короли и епископы.

Колокол ударил снова.

— Сегодня её сожгут на площади Старого рынка.

Тёплый воздух вдруг перестал быть тёплым. По спине Эйнна прошёл холод — не северный, а внутренний, тот, от которого тело не дрожит, потому что ещё не успело понять угрозу.

— Она должна умереть?

— Для летописей — да.

— А на самом деле?

— Нет.

Эйнн поднял голову.

— Если я спасу её, история изменится.

— История уже состоит из изменений. Вопрос не в том, тронешь ли ты её. Вопрос — что ты разрушишь и что сохранишь.

— Кодекс запрещает нам подменять чужую судьбу своей волей.

— Поэтому ты не должен отменить её смерть для мира. Ты должен отделить Жанну от той смерти, которую мир запомнит.

Эйнн понял не сразу.

Потом понял — и испугался сильнее.

Он должен был вытащить живого человека из огня, оставив огню легенду. Сделать так, чтобы тысячи глаз увидели казнь, которой не произошло. Спасти правду с помощью лжи.

— Разве добрая ложь перестаёт быть ложью? — спросил он.

— Нет, — ответил Логос. — Поэтому добро не становится лёгким только оттого, что его выбрали. Иногда свету приходится пройти через грязь, не объявляя грязь чистой.

Эйнн посмотрел на свои ладони.

Ему хотелось получить приказ: иди, прыгни, схвати, вернись. Приказ снимал бы часть вины. Но Логос не приказал.
— Решение за тобой.

Где-то в городе уже собирали хворост.

— Я пойду.

— Тогда ты должен стать незаметным.

Северная одежда выдавала Эйнна сильнее любого имени: плотная шерсть, мех, ремни, костяные застёжки. Среди зелёных полей Нормандии он выглядел человеком, которого зима забыла забрать с собой.

У ручья стоял низкий дом. На верёвке сушилась мужская одежда: льняная рубаша, шерстяная туника, чулки, капюшон. Рядом на лавке лежали старые башмаки.

— Я должен украсть? — спросил Эйнн.

— Взять и оставить цену.

Он снял с пояса северный нож. Хорошее железо, костяная рукоять, маленькая выбоина у обуха. Такой нож мог кормить семью много лет.

Эйнн завернул его в кусок кожи, положил на лавку и прижал гладким камнем.

— Хозяин решит, что святые обменяли его одежду на клинок, — заметила Твэр.

— После сегодняшнего дня ему будет не до святых.

— Людям всегда есть дело до святых, когда они получают хорошее железо.

Переодевался Эйнн за кустами. Рубаша пахла дымом, по-

том и высохшим солнцем. Чулки сидели непривычно, башмаки натирали пятки, туника тянула под мышками. Он посмотрел на отражение в ручье.

Из воды глядел не сын Эйи, не первый из двенадцати, не человек, прошедший огненную глубину. Худой деревенский юноша. Подмастерье. Слуга. Один из тех, чьё лицо толпа забывает ещё до того, как отвернётся.

— Имя? — спросил Логос.

— Эйнн.

— Для стражи.

— Этьен.

— Откуда?

— Из деревни к северу от Руана. Иду к больному дяде.

— Где живёт дядя?

Эйнн помолчал.

— Простая легенда не должна быть пустой, — сказал Логос.

— Тогда я ищу его дом и потому не знаю улицы.

— Лучше.

Эйнн вышел на дорогу.

Чем ближе становился Руан, тем тяжелее делался воздух. На полях работали люди, но почти не разговаривали. У городских ворот стояли солдаты. Английская речь звучала открыто и властно; французская уходила в шёпот, стоило рядом появиться оружию.

Логос не переводил слова — он раскрывал их смысл.

Эйнн слышал чужой язык так, будто мать шептала его у очага с детства. И всё же интонации оставались чужими: насмешка стражника, усталость торговца, осторожность женщины, которая велела ребёнку не смотреть на знамёна.

Улицы были мокрыми после ночного дождя. Грязь цеплялась к башмакам. Из канав тянуло гнилыми овощами и помоями, из пекарни — тёплым хлебом, от реки — сырой древесиной и рыбой. Над всем этим уже лежал тонкий запах смолы.

Люди шли в одну сторону.

К площади.

Некоторые крестились. Некоторые спорили. Некоторые смеялись слишком громко — так смеются те, кто боится, что молчание выдаст их страх. Женщины тянули детей за руки. Мальчишки протискивались вперёд. Старики качали головами. Кто-то шёл молиться. Кто-то — посмотреть. Кто-то уверял себя, что обязан увидеть справедливость, хотя в глубине души надеялся увидеть только огонь.

— Почему они идут? — спросил Эйнн.

— По разным причинам, — ответил Логос. — Но многие идут смотреть на чужую смерть, чтобы на несколько часов поверить: сегодня смерть выбрала не их.

Внутри груди дрогнула серебряная нить.

— Эйнн? — позвала Твэр.

— Я здесь.

— Вижу дым. И женщину в светлом.

— Я найду её.

— Брат...

— Что?

Её дыхание зазвучало прямо у него в рёбрах.

— Не дай огню забрать человека раньше, чем легенда успеет его отпустить.

Эйнн поднял глаза.

За крышами и вывесками уже виднелась площадь Старого рынка.

Колокол ударил ещё раз.

Город звал людей к смерти девушки, которая когда-то призвала целую страну к жизни.

Глава 24. Девушка, которую забрал дым

Площадь Старого рынка оказалась меньше, чем ожидал Эйнн.

Он думал, место, которое века будут вспоминать с ужасом, должно быть огромным. Достойным легенды. Но перед ним была обычная тесная площадь, с деревянными лавками и домами, нависавшими верхними этажами над людскими головами. Пахло рыбой, хлебом, мокрой шерстью, потом, навозом и сырым хворостом.

Именно обыденность делала происходящее невыносимым.

Мир не остановился.

Торговец продолжал ругаться из-за недоплаченной монеты. Женщина поправляла ребёнку шапку. Кто-то жевал горячую лепёшку. Кто-то спорил, будет ли дождь. В нескольких шагах от них готовили смерть, а жизнь занималась мелкими делами, словно надеялась своей обычностью оправдать всё, чему позволяла случиться.

Эйнн почувствовал запах смолы.

Во рту появился металлический привкус. Он прикусил губу и не заметил боли.

История уже знала исход. Его тело — нет.

Костёр должен был загореться. Без этого свидетели не поверят в смерть Жанны. Но сколько огня ей придётся принять? Сколько дыма войдёт в её лёгкие? Сколько мгновений Эйинн обязан ждать, чтобы спасти её не слишком рано?

Спаси человека — значило позволить ему испугаться смерти по-настоящему.

Эта мысль была почти невыносима.

Он держался у края толпы, опустив голову. Капюшон скрывал лицо.

— Говорят, она колдунья.

— Она предала церковь.

— А может, церковь предала её?

— Тише. Услышат.

— Англичанам нужен был приговор, вот они его и получили.

— Она привела Карла к короне.

— Вот за это её и жгут.

Шёпоты были опаснее криков. В них жила правда, которой не хватало смелости стать голосом.

Над площадью возвышался помост. Рядом стояли священники, чиновники и стража. Логос касался сознания Эйинна короткими знаниями, не позволяя им заслонить живую сцену.

— Пьер Кошон, епископ Бове. Он вёл процесс.

Эйинн увидел тяжёлое лицо человека, который уже превратил собственную волю в голос закона.

— Английской власти недостаточно убить Жанну, — продолжил Логос. — Нужно объявить ложью всё, что она сделала. Если её вёл Бог, коронация Карла получает священный смысл. Если её объявить ведьмой, на корону можно бросить ту же тень.

— Значит, судят не её, а одежду.

— Одежда стала поводом. Страх — причиной. Политика — рукой, которая поднесла факел.

Толпа зашевелилась.

Сначала по ней прошёл глухой шум. Потом шум стал волной. Люди вставали на цыпочки, вытягивали шеи, крестились, плевали через плечо. Один мужчина поднял сына на плечи.

— Папа, ей будет больно? — спросил мальчик.

Мужчина хотел прикрикнуть, но не смог. Он только крепче обхватил детские ноги и отвернулся от помоста.

Появилась повозка.

В ней стояла Жанна.

Не святая с золотым кругом над головой. Не воительница в сияющих доспехах. Не великанша, способная одним взглядом развернуть войско.

Девятнадцатилетняя девушка.

Худая до прозрачности. Бледная. Измученная месяцами тюрьмы, допросами, цепями и бессонными ночами. Светлая грубая одежда висела на ней чужой оболочкой. Обрезанные волосы развивались на ветру. На щиколотках темнели следы

железа.

Но унижение не стало её лицом.

В её лице оставалось то, чему не подчинились ни судьи, ни стражники, ни толпа.

Вера.

Не безупречная и спокойная. Раненая. Испуганная. Иногда почти угасающая. Но всё ещё её собственная.

Эйнн почувствовал, как сжалось сердце.

— Она боится, — сказал он.

— Да.

— В легендах об этом забудут.

— Людям проще поклоняться бесстрашным, — ответил Логос. — Тогда не нужно спрашивать себя, смогли бы они идти, дрожа так же сильно.

Рядом с Жанной шёл священник. Она иногда закрывала глаза и шевелила губами. Не смотрела на толпу. Возможно, снова видела Домреми: поля, церковь, сад, мать у очага, отца, который хотел для дочери простой жизни. Возможно, слышала Орлеан — звон оружия, крики раненых, хлопанье белого знамени. Возможно, вспоминала Реймс и короля, который получил корону, но не пришёл за ней в тюрьму.

Повозка остановилась.

Жанну подвели к столбу.

Приговор читали долго и мучительно. Высокими головами, чтобы слова накрыли площадь раньше дыма. Ересь. Упорство. Ложные откровения. Неповиновение. Повторное

падение.

Каждое слово звучало как камень, положенный на грудь.

Но под всеми обвинениями Эйинн слышал одно:

«Ты говорила слишком уверенно для той, кому велели молчать».

Верёвка обвилась вокруг тела Жанны.

Она дёрнулась — едва заметно. Не попыталась бежать. Тело само отшатнулось от столба, потому что тело не понимает великих целей. Оно хочет воздуха, воды, материнских рук и ещё одного утра.

Толпа притихла.

Смерть перестала быть рассказом. Теперь у неё было лицо.

Жанна попросила крест.

Один английский солдат оглянулся, словно боялся, что за жалость тоже судят. Потом сложил две тонкие палочки и связал их обрывком нити. Крест вышел кривым и бедным.

Жанна прижала его к груди так, будто в двух неровных щепках было больше милосердия, чем во всём суде.

Из соседней церкви принесли распятие. Священник поднял его выше, чтобы она могла видеть.

На лице солдата, подавшего крест, проступил ужас. Возможно, только теперь он понял: приказ не отнимает память о том подвиге, который она совершила.

Эйинн двинулся ближе.

Стражник толкнул его плечом.

— Назад!

Он опустил голову, изображая испуганного деревенского мальчишку, и отступил на полшага.

Кристалл под рубахой уже ожил.

— Рано, — сказал Логос.

— Она привязана.

— Рано.

— Они сейчас зажгут.

— Именно поэтому рано. Ты должен войти, когда все будут смотреть на огонь, но уже не смогут видеть Жанну.

У Эйнна свело пальцы.

— А если дым не закроет её?

— Тогда решишь сам.

Ответа, который можно было бы назвать утешением, не последовало.

Твэр коснулась его через нить.

— Я держу тебя.

— Мне кажется, я держусь за тебя сильнее.

— Значит, держимся оба.

На помост подняли факелы.

Пламя колебалось на ветру. Обычный огонь. Такой же согревал дома, сушил детские рукавицы. Человек взял то, что спасало его от холода, и научил убивать.

Жанна закрыла глаза.

Её губы произнесли имя Иисуса.

Факел коснулся хвоста.

Сначала огонь был маленьким. Почти жалким. Будто и сам не решался становиться частью такого дела.

Потом сухие ветки треснули.

Пламя нашло солому, смолу, воздух — и человеческое ожидание. Побежало вверх. Жадно зашептало у ног Жанны.

Она вскрикнула.

Один короткий звук.

Не голос святой.

Голос живой девушки, которой стало больно.

Толпа отшатнулась, словно этот крик впервые сделал каждого свидетелем, а не зрителем.

Дым ударил густо — чёрный, серый, едкий. Он пошёл не вверх, а в сторону, закручиваясь вокруг столба. Люди закашлялись. Священники закрыли лица рукавами. Стражники начали ругаться. Мальчик на плечах отца заплакал.

На миг Жанна исчезла.

— Сейчас, — сказал Логос.

Эйнн сжал кристалл.

Время стало вязким.

Крик толпы растянулся, как ткань.

Между двумя языками пламени открылась узкая тёмная линия.

Щель, которую мог увидеть только тот, кто согласился войти в огонь.

Глава 25. Щель в пламени

Щель была тонкой, как разрез ножом в ткани мира.

Для перехода внутри одной эпохи не требовалось снова бросаться с утёса. Но Эйнн почти предпочёл бы падение. Там врагом была бездна. Здесь — огонь, человеческая жестокость и одна ошибка, способная навсегда сделать ложью всё, ради чего Жанна жила.

Он шагнул в дым.

И оказался у столба.

Снаружи толпа кричала. Внутри серебряной оболочки звуки стали глухими, словно Эйнн и Жанна находились на дне кипящего моря. Пламя окружало их со всех сторон, но не касалось кожи. Кристалл на груди Эйнна горел белым светом. Воздух дрожал прозрачной стеной.

Вблизи Жанна казалась ещё моложе.

Не легендой. Не знаменем. Истощённой девушкой с обожжёнными губами, обрезанными волосами и руками, дрожащими от дыма и страха.

Мужество не отменяло страх.

Оно только не позволяло страху произнести последнее слово.

Жанна открыла глаза.

Перед ней стоял незнакомый юноша. В его одежде не было ничего чудесного, но в глазах отражался свет, которого не

давал костёр.

— Кто ты? — прошептала она.

Эйнн хотел ответить красиво.

Не смог.

— Друг.

— Я слышала голоса, — сказала Жанна. — Теперь слышу только огонь.

Он взял её ладонь. Среди жара кожа была ледяной.

— Тогда слушай меня. Вдохни.

Она попыталась. Закашлялась.

— Ещё раз.

— Я умерла?

— Нет.

Жанна посмотрела на него так, будто это слово было страшнее смерти.

— Ты ангел?

— Нет.

— Демон?

— Тоже нет.

— Тогда кто?

Эйнн вынул нож.

— Человек, который слишком поздно понял, что не умеет быстро резать верёвки.

На мгновение уголок её губ дрогнул. Даже на костре жизнь нашла крошечное место для улыбки.

Пламя поднялось выше.

Эйнн провёл ножом по верёвке. Лезвие не справлялось с натянутыми волокнами. Тогда кристалл вспыхнул, и прочность веревок ослабла, словно веревка вспомнила время, когда была стеблем в поле.

— Меня нельзя спасти, — сказала Жанна.

Эйнн замер.

— Почему?

— Если я исчезну, они скажут, что огонь не взял ведьму.

Всё, что я сделала, станет доказательством против меня.

— Они и без этого превратили твою правду в обвинение.

— Но Франция...

— Франция увидит твою смерть.

Жанна перестала бороться с кашлем и посмотрела прямо ему в лицо.

— А я?

— Ты не обязана умирать только потому, что история уже приготовила для тебя красивую могилу.

Вторая верёвка лопнула.

— Кто послал тебя?

Эйнн хотел сказать: Вселенная. Логос. Мать. Одинадцать братьев и сестёр. Люди будущего, которые будут плакать над её именем.

Но для Жанны всё это прозвучало бы как новое испытание веры.

— Тот, кто слышал твою молитву.

Она закрыла глаза.

— Я не хотела войны.

— Знаю.

— Я хотела, чтобы Франция жила.

— Она будет жить.

Последняя верёвка поддалась.

Жанна качнулась вперёд. Эйинн подхватил её прежде, чем она упала в пламя.

Она оказалась почти невесомой.

Слишком лёгкой для человека, который поднял страну с колен и короля — к короне.

Её голова легла ему на плечо. Глаза закрылись.

— Быстрее, — сказал Логос.

— Толпа увидит пустой столб.

Кристалл вспыхнул.

Дым вокруг них свернулся в плотный чёрный кокон. Внутри возник силуэт — не тело и не призрак. Память огня о человеческой форме. Толпа ждала увидеть смерть, и временная щель позволила ожиданию стать видимостью.

За дымом кто-то закричал:

— Иисус!

Другой голос подхватил имя.

Кто-то упал на колени. Кто-то отвернулся. Кто-то навсегда запомнил, что в пламени осталось сердце, которое не сгорело.

Никто не увидел, как Эйинн с Жанной на руках шагнул назад.

Щель сомкнулась.

Они вышли в узкий проход между домами. Здесь пахло помоями, мокрым деревом и старой соломой. После костра прохладный воздух обжёг лицо сильнее жара.

За стенами гудела площадь.

Судьи думали, что приговор исполнен.

Англичане — что опасное знамя уничтожено.

Толпа — что стала свидетелем смерти.

История получила пепел.

Эйнн — живую девушку, которая едва дышала у него на руках.

Он поспешил под низкую арку, прижимая к себе плащ, которым накрыл Жанну. Её дыхание было слабым и горячим. На ресницах застыл пепел.

И тогда кристалл отозвался на неё.

Не светом.

Узнаванием.

По серебряной нити прошёл звук, похожий на далёкий колокол. Эйнн почувствовал в Жанне не силу своего Братства, не Хромосому Койпера, а родство иного рода: ту же готовность поставить себя между тьмой и чужой жизнью.

— Почему ты не сказал? — спросил он Логоса.

— О чём?

— Она связана с тобой.

Логос молчал дольше обычного.

— До вас были другие попытки, — произнёс он наконец.

— Не Братство в том виде, в каком создала его Эйя. Отдельные души. Отдельные огни. Люди, способные услышать зов и принять его за голос своей веры, совести или безумия.

Эйнн посмотрел на лицо Жанны.

— Её голоса...

— Через меня до неё доходила воля Создателя. Но выбор делала она сама. Никогда не отнимай у человека заслугу, называя его лишь орудием Неба.

Эти слова вошли в Эйнна глубже приказа.

Он смотрел на Жанну: на почерневшие от дыма ресницы, следы верёвок, обожжённый край одежды. Красота её была не спокойной и не праздничной. Она жила в хрупкости, которая не стала слабостью; в лице, из которого страдание не вытеснило свет.

Эйнн понял это с той внезапной ясностью, с которой человек узнаёт не мысль, а собственную судьбу.

Он полюбил её.

Не за легенду. Не за Францию. Не за чудо.

За то, что даже у столба она думала не о том, как избежать боли, а о том, не станет ли её спасение новой ложью против людей, которым она служила.

Чувство пришло огромным, без спроса, почти пугающим. И сразу потребовало от него первого доказательства: не сделать любовь правом на другого человека.

— Не забывай кодекс, — сказал Логос.

— Я помню.

— Ты спас её не для себя.

Эйнн крепче завернул Жанну в плащ, защищая от взглядов.

— Я знаю.

Но голос дрогнул.

Твэр направляла его через серебряную нить.

— К реке нельзя. У ворот уже усиливают стражу. Иди через двор, потом под аркой. За монастырской стеной есть старый сад.

Эйнн миновал бочки, телегу, груды мокрых досок. Женщина выливала воду из ведра и даже не подняла головы. В день казни никто не обращал внимания на юношу, несущего больную сестру.

— Если она очнётся? — спросил он.

— Скажешь часть правды, — ответил Логос.

— Какую?

— Что она жива.

Эйнн усмехнулся без радости.

— После костра это самая трудная часть правды.

Он шёл быстрее.

За спиной кричал Руан.

Люди уже пересказывали то, чего не видели. Одни говорили, что Жанна умерла святой. Другие — что ведьма получила заслуженное. Кто-то клялся, будто видел белую птицу над дымом. Кто-то уверял, что сердце не сгорело. Легенда рождалась раньше, чем остывал пепел.

А Эйинн нёс её прочь.

Живую.

И впервые понимал: воскресить человека для мира иногда легче, чем научить его жить после собственной смерти.

Глава 26. Сад после костра

За монастырской стеной цвёл старый сад.

Солнечный свет просеивался сквозь листья. Пчёлы кружили над травой. На ветках наливались маленькие зелёные плоды. Ничто здесь не знало, что в нескольких улицах отсюда история только что разделилась надвое: видимая оставила Жанну в огне, тайная принесла её сюда.

Эйнн осторожно опустил девушку на траву.

Она дышала неровно. Каждый вдох цеплялся за лёгкие, словно дым всё ещё не хотел отпускать её.

Он коснулся кристаллом запястий. Серебряный свет прошёл по следам верёвок. Не стёр их — только снял острую боль. Затем Эйнн поднёс ладонь к её лицу. Из дыхания вытянулась тонкая серая нить и растаяла в воздухе.

Жанна вздрогнула.

Открыла глаза.

Треснула ветка.

Она резко закрыла лицо руками и попыталась отползти. Пятки скользнули по траве. Тело продолжало ждать столба, верёвок и чужих рук.

С дальнего двора потянуло кухонным дымом.

Жанна задохнулась.

— Огонь...

— Его здесь нет, — тихо сказал Эйнн.

— Я чувствую.

Он снял плащ и накрыл её плечи, хотя день был тёплым.

Вытащить человека из огня оказалось быстрее, чем вытащить огонь из человека.

Несколько мгновений Жанна смотрела на небо сквозь листья. Потом прошептала:

— Я жива.

Это не было вопросом. В голосе звучало почти обвинение.

— Да.

— Значит, Господь меня не принял.

Эйнн сел на расстоянии вытянутой руки.

— Или вернул.

Она повернула голову. В глазах не было радости. Только усталость и осторожный ужас человека, которого смерть уже отпустила, а жизнь ещё не объяснила, зачем.

— Кто ты?

— Эйнн.

Имя показалось ей странным.

— Ты не француз.

— Нет.

— Англичанин?

— Нет.

— Тогда откуда?

Он посмотрел на кристалл.

Сказать всю правду было нельзя. Солгать полностью — невозможно.

— Из страны, до которой очень далеко идти.

— Все лжецы приезжают издалека.

— Моя ложь ближе, чем моя страна.

Жанна нахмурилась.

— Что это значит?

— Что я не могу рассказать, откуда пришёл. Но могу честно сказать, зачем.

— Зачем?

— Чтобы ты жила.

— Все люди умирают.

— Но не всякая смерть приходит тогда, когда человек закончил жить.

Она закрыла глаза.

— Сколько людей видело костёр?

— Вся площадь.

— Они уверены, что я умерла?

— Да.

Жанна долго молчала.

Эйнн ждал облегчения. Вместо него по её лицу прошла новая боль.

— В тюрьме были другие, — сказала она. — Женщины, имён которых никто не запишет. Одна плакала всю ночь и звала дочь. Другую увели утром. Мне дали чудо, потому что люди знают моё имя. А им?

Эйнн не нашёл ответа.

— Не говори, что моя жизнь дороже, — продолжила Жан-

на. — Если ваше Братство когда-нибудь начнёт спасать только тех, о ком будут писать книги, оно станет ещё одним королевским двором.

Эти слова обожгли сильнее костра.

— Я запомню.

— Запоминать мало.

— Тогда буду выбирать так, чтобы мне было стыдно за тех, кого не удалось выбрать.

Жанна открыла глаза.

— Это тяжёлая клятва.

— Лёгкая клятва никого не удерживает.

Она смотрела на него внимательнее.

— Я слышала голоса, — сказала она. — Они велели мне идти. Я пошла. Потом учёные люди сказали, что мои голоса — ложь. Если они были правы, значит, я привела людей на смерть из-за собственного безумия.

Эйнн почувствовал в её словах не вопрос о богословии.

Она спрашивала, имеет ли право доверять самой себе после того, как месяцы чужих голосов называли её заблуждением.

— Когда тебя заставляют сомневаться в каждом воспоминании, — сказал он, — чужая уверенность начинает звучать правдоподобнее собственной души.

— Откуда ты знаешь?

Перед глазами вспыхнул Моркан, которого Эйнн ещё не встречал, но сама мысль о будущих испытаниях будто про-

шла по серебряной сети. Потом — отец Эйи, лицо матери, которую она едва не потеряла в памяти, и собственный страх перед прыжком.

— Потому что любой человек однажды слышит голос, который говорит: «Ты ошибся во всём». Иногда этот голос принадлежит врагу. Иногда — тебе самому.

— А как понять правду?

— По последствиям. По тому, стала ли твоя вера оправданием жестокости или заставила тебя принять боль на себя. По тому, кого ты защищала, когда никто не обещал награды.

Жанна отвернулась к листьям.

— Из-за меня умирали.

— И без тебя они тоже умирали бы. Только, возможно, без надежды.

— Удобный ответ.

— Неполный.

Она снова посмотрела на него.

Эйинн не пытался оправдать всё. Это, кажется, убедило её больше красивой речи.

— Ты боишься? — спросила Жанна.

Он мог сказать «нет». Она всё равно не знала бы правды.

Но после суда ложь, произнесённая для красоты, казалась особенно мерзкой.

— Боюсь.

— Чего?

— Что опоздаю. Что сделаю хуже. Что сила убедит меня,

будто я всегда прав. Что однажды назову своей волей волю Вселенной.

Жанна медленно кивнула.

— Тогда почему пришёл?

— Потому что страх может идти рядом. Главное — не позволить ему выбирать дорогу.

Она почти улыбнулась.

— Ты говоришь как солдат.

— Я не солдат.

— Как монах?

— Тоже нет.

— Тогда как кто?

Эйнн подумал о братьях и сёстрах, которые ждали на северном утёсе.

— Как старший брат.

На этот раз улыбка действительно появилась. Слабая, усталая — и оттого драгоценная.

Сердце Эйнна ударило сильнее.

— Я слышу, — сказала Твэр через нить.

— Что?

— Как ты стараешься дышать тише, чтобы я не заметила.

— Не получилось?

— Ты никогда не умел скрываться от сестры.

— Я только что скрыл человека от целого города.

— Город не рос с тобой у одного очага.

В голосе Твэр не было ревности. Только тревога.

— Возвращайся.

Эйнн посмотрел на Жанну.

— Я не могу оставить её одну.

— Не оставляй. Но помни: спасение не делает её твоей.

Логос произнёс мягко:

— Это и есть первое настоящее испытание Братства. Не пройти сквозь огонь. Не обмануть толпу. Спасти человека и не решить, что теперь имеешь право выбирать за него.

Эйнн опустил голову.

Жанна заметила перемену в лице.

— Ты снова кого-то слышишь?

— Да.

— Святых?

— Сестру. И того, кого проще назвать отцом, хотя у него нет тела.

— Слушай их, — сказала Жанна. — Отцы иногда говорят разумно.

— Ты не знаешь моего.

— А ты не знаешь моих голосов.

Между ними возникла тишина.

Не чудесная. Не священная. Простая человеческая тишина двух живых людей, чья история уже успела похоронить по разным причинам.

Вдалеке закричали солдаты.

Эйнн поднялся.

— Нам нужно уходить.

Жанна попыталась встать. Ноги подломились.

— Я понесу тебя.

— Нет.

— Ты не можешь идти.

— Научусь снова.

— Почему ты не позволяешь помочь?

Она посмотрела прямо на него.

— Я достаточно долго была на руках у чужой воли.

Эти слова остановили его сильнее приказа.

Эйнн склонил голову.

— Тогда я не понесу. Я дам опору, если ты выберешь её
взять.

Он протянул руку.

Жанна долго смотрела на ладонь. Потом вложила свою.

Её пальцы были горячими после огня и одновременно холодными после страха.

Она поднялась. Пошатнулась. Устояла.

Между деревьями задрожал воздух.

Открывалась серебряная щель — тихая, почти нежная. В глубине проступили зелёные поля, низкие дома, церковь и дорога к Домреми.

— Туда? — спросила Жанна.

— Логос хочет вернуть тебя ближе к дому.

Она смотрела на родные поля, которых ещё не касалась ногой.

— Если я уйду, Франция поверит, что я погибла.

— Да.

— А если останусь, меня снова сожгут.

— Да.

Жанна закрыла глаза.

— Значит, мне оставили не жизнь, а изгнание.

— Иногда изгнание — это жизнь, которую история не смогла украсть.

Она чуть крепче сжала его руку.

— Ты странный человек, Эйинн издалека.

— Мне часто это говорят.

— Кто?

Он увидел Эйю, Твэр, братьев и сестёр, Моха, который наверняка считал себя тайным участником спасения Франции.

— Семья.

Жанна сделала шаг к щели.

Серебряный свет дёрнулся.

Домреми исчезло.

В глубине возникли тёмные гобелены, узкие окна, едва тлеющий камин и мужчина, закрывший лицо руками.

Эйинн нахмурился.

— Что происходит?

Логос не ответил сразу.

Его молчание оказалось страшнее предупреждения.

— Щель не слушается меня.

— Почему?

— Потому что спасена жизнь, но не развязан узел.

Жанна уже узнала человека в глубине света.

Пальцы её задрожали в руке Эйнна.

— Нет, — прошептала она.

— Кто это? — спросил Эйинн, хотя ответ уже пришёл по кристаллу.

— Карл.

Глава 27. Клятва короля

Их выбросило в тишину.

Не в Домреми.

Не в поля Лотарингии.

В личные покои Карла VII.

Высокие стены были затянуты тёмными тканями. Узкие окна пропускали холодный вечерний свет. В камине тлели угли. На столе лежали письма, печати, карты, кубок с нетронутым вином.

В тяжёлом кресле сидел король Франции.

Закрыв лицо руками.

Жанна остановилась.

Тело, едва выдержавшее костёр, напряглось так, будто снова почувствовало верёвки.

— Я не хочу его видеть, — сказала она.

Эйнн встал чуть впереди, заслоняя её от человека, которому она когда-то открыла дорогу к короне.

— Тогда мы уйдём.

— Щель закрыта, — произнёс Логос.

— Открой другую.

— Не могу.

— Или не хочешь?

В голосе Эйнна появилась холодная ярость.

— Разница важна, — ответил Логос. — Я хотел вернуть

Жанну домой. Но время привело её сюда. Её тело спасено. Теперь её прошлое требует последнего слова.

Жанна смотрела на Карла.

Он ещё не поднял головы. Не видел их. Перед ним лежали бумаги о войне, перемириях и налогах. Всё королевство умещалось в строках, печатях и цифрах. Только девушка на площади Руана не помещалась ни в один документ, потому что совесть всегда остаётся вне государственной записи.

— Он знал? — спросил Эйнн.

Логос ответил осторожно:

— Он знал, что Жанна в руках врагов. Знал о суде. Боялся, что её обвинение ударит по законности его короны. Были война, Бургундия, переговоры, слабая власть и множество причин ничего не делать.

— Причин?

— Причина объясняет поступок. Не всегда оправдывает. Жанна закрыла глаза.

Она могла отказаться как женщина, которую предали. Имела полное право. Но слово «Франция» всегда было для неё больше собственной боли. Иногда это делало её великой. Иногда — беззащитной перед теми, кто знал, что она снова пожертвует собой.

— Я поговорю с ним, — сказала она. — Но не потому, что Небо требует. Потому что я сама хочу закончить то, что он оставил незавершённым.

Эйнн отступил.

— Я рядом.

— Не говори за меня.

— Не буду.

Карл поднял голову.

Сначала увидел свет.

Потом Жанну.

Живую. Бледную. С тёмными следами дыма на лице и обожжённым краем одежды.

Рядом стоял незнакомый юноша, похожий одновременно на свидетеля и приговор.

Карл побелел.

Рука машинально потянулась поправить рукав. Этот маленький жест выдал его точнее любой исповеди: король пытался вернуть порядок одежде, потому что не мог вернуть порядок совести.

Он вскочил. Кресло ударилось о стену.

Ноги подломились.

Карл упал на колени.

— Жанна...

Она не ответила.

По щекам текли слёзы. Не громкие, не красивые. Тело плакало раньше, чем гордость успела запретить.

Король протянул руки и остановился, не решившись коснуться даже края её одежды.

— Господи... Если это твоя душа... Если тебе позволили прийти... прости меня.

Эйнн почувствовал, как внутри поднимается гнев.

Этот человек носил корону, к которой Жанна прокладывала дорогу через кровь. Пока её допрашивали, унижали и вели к костру, он оставался королём — и именно поэтому мог позволить себе называть бессилием то, что у простого человека назвали бы трусостью.

— Не вмешивайся, — сказал Логос. — Это её суд.

Жанна сделала шаг.

— Когда меня судили, — спросила она, — ты хотя бы однажды попытался узнать, можно ли меня выкупить?

Карл открыл рот.

Не ответил.

Иногда вся власть человека измеряется длиной молчания перед простым вопросом.

— Я спрашиваю не о победе, — продолжила Жанна. — Не о том, смог бы ты ворваться в Руан. Я спрашиваю: ты попытался?

— Мне говорили...

— Ты попытался?

— Нет.

Слово упало тяжелее короны.

— Почему?

Карл вздрогнул.

Он мог перечислить войну, Бургундию, английскую власть, церковный суд, слабость казны, риск для престола. Всё это было правдой. Но иногда человек прячется от глав-

ной правды за множеством меньших.

— Я испугался.

В камине осыпался уголёк.

— Чего? — спросила Жанна.

— Тебя.

Она едва заметно отшатнулась.

— Имени, — поспешно продолжил Карл. — Того, что солдаты верили тебе сильнее, чем приказам. Что народ видел в тебе свет, которого не видел во мне. Я боялся: если церковь назовёт тебя ведьмой, скажут, что ведьма привела меня к короне. А если я стану защищать тебя, то вместе с тобой поставлю под удар Францию.

— И ты решил поставить под удар меня.

Карл закрыл лицо.

— Да.

Он произнёс это без защиты.

— Я называл осторожностью то, что было страхом. Говорил себе, что король обязан думать о стране, когда на самом деле думал о короне. Я мог послать золото, людей, послов. Мог требовать, угрожать, просить. Возможно, не спас бы. Но тогда хотя бы знал бы, что не бросил тебя молча.

Он склонился ниже.

— Я ничего не сделал.

Жанна смотрела на него.

В её молчании были Домреми, Орлеан, Реймс, плен, каменная камера, мужские голоса за дверью, приговор, кривой

крест из двух палочек и первый крик огня.

Предательство врага ранит тело.

Предательство того, кому верил, заставляет человека сомневаться в собственной памяти: действительно ли добро между вами когда-то существовало?

— Не проклинай меня, — прошептал Карл. — Только не ты.

— Я не пришла проклинять.

Он поднял мокрые глаза.

— Тогда зачем?

— Чтобы ты больше никогда не называл трусость заботой о Франции.

Карл заплакал.

Не величественно. Тяжело, сдавленно, почти беззвучно. словно гордость, годами укреплявшая его изнутри, оказалась тонкой штукатуркой и теперь осыпалась.

— Скажи, что мне сделать.

Жанна стояла перед ним не пленницей и не святой. Крестьянской дочерью, которая однажды уже сказала этому человеку: ты должен идти к короне.

— Стань королём, каким ты назвал себя, когда принял корону.

— Я обещаю.

— Слова уже оставили меня у костра.

Карл вздрогнул.

— Тогда прикажи.

— Я не королева.

— Для Франции ты сделала больше многих королей.

Жанна отвернулась. Эйинн увидел, как дрогнули её плечи. Она устала быть знаменем. Устала отдавать стране даже то, что должно было принадлежать только ей.

Но всё же заговорила.

— Создай войско, которое служит Франции, а не прихоти каждого сеньора. Чтобы после битвы вооружённые люди не превращались в новую беду для деревень.

— Сделаю.

— Пусть налог, который берёт король, возвращается защитой, а не только золотом на пиры. Люди не должны платить за государство, которое вспоминает о них лишь перед войной.

— Клянусь.

— Сделай суд местом, куда слабый может прийти против сильного. Иначе закон — только красивое имя для власти.

Карл поднял голову.

— Я сделаю всё.

— Не всё. Никто не может всё. Сделай достаточно, чтобы твой страх не пережил тебя в законах Франции.

Эйинн почувствовал, как эта фраза прошла через комнату и осталась в стенах.

Жанна продолжила:

— И верни моему имени честь.

Карл побледнел.

— Они объявили меня еретичкой. Для мира я умерла. Пусть так. Но девочка из Домреми не должна навсегда остаться лгуньей только потому, что мёртвой легче не отвечать судьям.

— Я добьюсь нового расследования.

— Не ради святой, которой меня когда-нибудь назовут. Ради живой девушки, которую вы не захотели услышать.

Карл опустил голову почти до пола.

— Клянусь перед Богом, Францией и тобой. Я верну твоему имени честь.

Жанна закрыла глаза.

Слёзы текли, но лицо становилось спокойнее.

— Ты просил прощения.

— Да.

— Я услышала.

— Простишь?

Тишина длилась долго.

Эйнн понимал: прощение не обязано быть быстрым, чтобы считаться добрым. Человек имеет право не открывать дверь тому, кто однажды впустил в его дом огонь. Нельзя требовать прощения как доказательства чужой святости.

Жанна могла уйти, оставив Карла с виной.

И была бы права.

Наконец она сказала:

— Я прощаю тебя.

Король зажал рот рукой.

— Но моё прощение не делает твой поступок правильным, — продолжила Жанна. — И не возвращает мне тех дней. Оно освобождает меня от необходимости всю жизнь носить тебя внутри своей боли.

Карл смотрел на неё, не дыша.

— Сделай так, чтобы Франция получила от моего прощения больше, чем ты.

— Обещаю.

— Тогда исполни.

Серебряный свет начал собираться вокруг Жанны и Эйнна.

Карл испуганно протянул руку.

— Не уходи.

Жанна посмотрела на него мягче, но не приблизилась.

— Для мира я уже ушла.

— Значит, это сон?

— Пусть будет сном, если сон заставит тебя проснуться.

— Ты святая?

Она грустно улыбнулась.

— Я была девушкой, которая хотела исполнить волю Неба и слишком часто забывала спросить, чего хочу я сама.

Эйन्न почувствовал, как её пальцы нашли его ладонь.

— Выполни обещания, Карл.

— Выполню.

— Тогда мой огонь не станет только дымом.

Свет сомкнулся.

Позднее правление Карла VII действительно изменило Францию. Появилось постоянное королевское войско. Укрепилась система налогов, позволявшая содержать его. Королевская власть теснила произвол частных армий и феодальных распрей. Эти перемены родились не из одной тайной встречи — история никогда не подчиняется одной причине. Но вина, которой человек позволил стать обязанностью, тоже может двигать государство.

В тысяча четыреста пятидесятом году по воле Карла началось расследование обстоятельств суда над Жанной. Позднее, в тысяча четыреста пятьдесят пятом — тысяча четыреста пятьдесят шестом годах, новый церковный процесс отменил прежний приговор и очистил её имя.

Посмертно.

Потому что для видимой истории она умерла в Руане.

Карл так и не понял, приходила ли к нему живая Жанна, её душа или собственная совесть, получившая лицо.

Это было неважно.

Он слышал её.

Жанна слышала его признание.

Но невиновность ему не вернула.

Она оставила королю не оправдание.

Обязанность.

Глава 28. Возвращение домой

Серебряный свет не перенёс их сразу на Север.

Он выбросил Эйнна и Жанну на вершину холма Сент-Катрин, над Руаном.

После тесных покоев Карла ветер показался ударом. Он пах мокрой землёй, дымом, рекой и остывающим железом. Внизу лежал город: крыши, колокольни, тёмная лента Сены, дома, где люди уже возвращались к ужину после чужой смерти.

Жанна остановилась.

Её пальцы всё ещё держали руку Эйнна, но сама она будто осталась там, в комнате короля, перед человеком, который признал собственную трусость. Прощение не принесло облегчения сразу. Оно не было дверью, распахнувшейся в солнечный сад. Скорее тяжёлым камнем, который она наконец вынула из груди и положила рядом. Дышать стало свободнее, но сердце болело.

Ветер рванул её покрывало. Жанна вздрогнула и сразу рассердилась на собственное тело. После костра оно пугалось каждого внезапного движения воздуха, каждого треска ветки, каждого запаха дыма. Разум знал, что она свободна. Тело продолжало ждать верёвок.

Эйन्न заметил это, но не коснулся её.

— Щель откроется внизу, — сказал Логос. — Для пере-

хода нужно падение.

Жанна посмотрела через край.

Холм уходил вниз круто. Далеко под ногами чернели деревья и дорога. Высота не была похожа на северный утёс Эйнна, под которым море билось о камень, словно хотело разбить саму землю. Но тело не разбирало страны. Пустота под ногами везде говорила одним языком.

— Раньше ты сказал: «Я понесу», — напомнила Жанна.

— И ты отказалась.

— Я всё ещё отказываюсь.

— Тогда что предлагаешь?

Она протянула ему руку.

— Прыгнем вместе. Не как спаситель и спасённая.

Эйинн взял её ладонь.

— Как кто?

Жанна чуть улыбнулась.

— Как два друга, отправляющихся в путешествие.

Они подошли к краю.

Сердце Эйнна ударило так сильно, что боль отдалась под рёбрами. Он боялся не высоты, он боялся сжать Жанну слишком крепко и стать для неё чужой волей. Боялся держать слишком слабо и потерять.

Она сама положила руки ему на плечи.

— Ничего не бойся, — сказал он, и голос предательски дрогнул.

Жанна посмотрела прямо ему в глаза.

— А я и не боюсь.

Он хотел поверить, но увидел, как побелели её пальцы на его плече.

— Лукавишь.

— Конечно. Но иногда храбрость — это ложь, которую тело успевает превратить в правду.

— Готова?

— Я уже шла в огонь. Думаю, с высотой мы договоримся.

Они прыгнули.

Земля исчезла.

Воздух ударил в лицо и вырвал крик из груди — не от ужаса, а от внезапной свободы. Жанна прижалась к Эйну, но не закрыла глаз. Руан метнулся вверх, башни уменьшились, Сена блеснула тонкой сталью. На одно невозможное мгновение она увидела собственную могилу — не место в земле, а город, который её похоронил.

Воздух загустел.

Под ними раскрылась огненная щель.

Она была похожа на расплавленное сердце земли: красная, оранжевая, золотая, с тёмными жилами, которые двигались, словно огромные сосуды. Жар ударил в лицо. Жанна судорожно вдохнула и почувствовала дым, которого не было.

Площадь вернулась.

Верёвка словно снова стянула грудь.

Огонь поднялся по ногам.

— Нет, — выдохнула она.

Эйнн услышал не слово — тот звук, который рождается раньше слова, когда человек снова падает в пережитый ужас.

— Жанна. Смотри на меня.

Она не могла.

Пламя сомкнулось вокруг них. Не обжигало кожу, но память не различала настоящее и прошлое. Жанна забилась в его руках.

— Это дорога, — сказал Эйнн. — Не костёр. Ты идёшь сама. Никто тебя не держит.

Её дыхание рвалось.

— Скажи, что видишь.

— Огонь.

— Кроме огня.

Она заставила себя открыть глаза.

— Тебя.

— Что чувствуешь?

— Твою руку.

— Она удерживает тебя?

Жанна поняла вопрос.

— Нет. Я держусь сама.

Пламя изменилось. Перестало быть стеной и стало течением. Оно прошло по одежде, волосам, коже, не оставляя ожога. За спиной Эйнна постепенно начала раскрываться новая щель — тёмно-синяя, серебряная по краям.

Из неё пахло снегом.

Не чистым и торжественным, а настоящим: морозной со-

лью, дымом очага, мокрой шерстью, рыбой, кожей и далёким морем.

— Домреми? — спросила Жанна.

Логос ответил не сразу:

— Нет.

Её тело напряглось.

— Почему?

— Вселенная против. Твоё лицо помнят. Твоё появление породит слухи, паломничества, новый суд. Одни захотят поклоняться. Другие — закончить казнь. Третьи станут использовать тебя против короля. Видимая история должна сохранить твою смерть.

— Значит, я снова должна исчезнуть ради истории?

В голосе Жанны не было слёз. От этого вопрос прозвучал жёстче.

— Я не приказываю, — сказал Логос. — Я называю цену. Ты можешь вернуться. Но тогда твоя жизнь снова станет знаменем в чужих руках.

— А если пойду на Север?

— Там тебя не знает никто.

Жанна горько усмехнулась.

— Прекрасная награда. Я спасла Францию и осталась за закрытыми воротами города.

— Ты получила возможность новой жизни, — тихо сказал Эйнн.

Она посмотрела на него.

Слова ранили, потому что были правдой.

С детства её называли дочерью, пастушкой, посланницей, Девой, воительницей, ведьмой, святой. Каждое имя требовало от неё чего-то. Никто не спрашивал, кем она хочет быть, если перестанет спасать страну.

— На Севере твоя семья? — спросила она.

— Да.

— Они знают, кто я?

— Знают, что ты живая. Остальное ты расскажешь сама, когда захочешь.

— А если не захочу никогда?

— Тогда будешь женщиной, которая не любит говорить о Франции.

Жанна улыбнулась не из вежливости и не от усталости.

— Там есть Мох, — добавил Эйнн.

— Кто такой Мох?

— Это трудно объяснить, лучше увидеть самой.

— Значит, он твой брат?

— Он олень.

— Олень по имени Мох?

— Он сам выбрал себе имя.

Жанна тихо рассмеялась.

Смех оборвался внезапно. Она закрыла рот ладонью. Глаза наполнились слезами.

Синяя щель распахнулась и поглотила их.

Холод пришёл внезапно.

Он ударил сразу — в зубы, лёгкие, глаза. Воздух Севера был таким чистым, что казался острым. Жанна вдохнула и закашлялась. Снег под ногами скрипнул, а затем Жанна провалилась в сугроб по щиколотки. Небо висело огромным чёрным куполом, пронизанным зелёным светом. Северное сияние текло над горами, будто кто-то медленно переворачивал прозрачные полотна.

Впереди стояли люди.

Эйя — в тёмной накидке, с серебряными нитями под кожей. Рядом дети: похожие и непохожие, внимательные, молчаливые, слишком юные для глаз, в которых уже отражались чужие века. На плече Сейксы сидел Шаман. Белая сова на фоне ночи казалась вырезанной из Луны.

Жанна замерла.

После суда она боялась толпы. Даже добрые лица, собранные вместе, становились угрозой.

Эйя увидела это первой.

— Эйинн, проводи гостью к огню. Вопросов задавать мы не намерены. Всему своё время.

Никто не возразил.

Из-за ног Трира высунулась лохматая морда.

Мох посмотрел на Жанну.

Она посмотрела на Моха.

Один рог был украшен сухой травой, на втором висел ремешок, который кто-то безуспешно пытался у него отнять. Мох приблизился, осторожно обнюхал край обожжённого

платья и вдруг чихнул так громко, что сам испугался, отпрыгнул и сел задом в сугроб.

Жанна рассмеялась.

Мох, решив, что его обидели, поднялся, стряхнул снег и попытался пройти мимо с царственным видом. Ремешок зацепился за ветку. Олень дёрнулся, ветка отпустила его и тут же хлопнула. Мох понёсся вокруг детей, волоча за собой сухой куст.

— Это и есть ваша великая северная тайна? — сквозь смех спросила Жанна.

— Одна из самых великих, — ответил Эйнн.

Эйя подошла ближе.

Она просто сняла с себя тёплую меховую накидку и накинула ей на плечи Жанны.

— Согрейся, девочка, на севере холодные ветра, но горячие сердца и добрые люди, — сказала Эйя.

В доме пахло дымом, сушёной рыбой, травами и хлебом. Этот запах был грубее французских ароматов и честнее королевских покоев. Жанну усадили возле очага, но не слишком близко. Эйя заметила, как она боится пламени, и поставила между ней и огнём низкий деревянный щит. Тепло осталось. Вид огня исчез.

Никто не спросил, почему у Жанны дрожат руки.

Сейкса поставила рядом чашу тёплого отвара. Твэр молча положила на скамью чистую рубаху. Атта отвернулась, пока Жанна переодевалась. Фимм вынес из дома коптильную

решётку, чтобы запах дыма не был таким сильным. Каждый сделал что-то маленькое. Никто не называл это спасением.

Большое спасение уже состоялось.

Теперь начиналась более трудная работа — возвращение человека самому себе.

Эйя села рядом.

— Здесь тебя никто не заставит рассказывать, — сказала она.

— А если я никогда не привыкну?

— К чему?

— Жить после собственной смерти.

Эйя посмотрела на свои ладони. Когда-то она тоже держала человека, которого могла спасти лишь ценой памяти.

— Жизнь после утраты не становится прежней. Она становится другой. Это не предательство.

Жанна опустила голову.

— Я не знаю, кто я теперь.

— Хорошо.

Она подняла глаза.

— Почему хорошо?

— Потому что раньше за тебя отвечали короли, судьи, солдаты и голоса. Теперь ответ можешь найти ты сама.

Ночью Жанна долго не могла уснуть. Каждый раз, когда в очаге трещало полено, тело подбрасывало её с лежанки. На четвёртый раз рядом тяжело вздохнули.

Мох улёгся у её ног.

Он положил морду ей на щиколотки и согрел их дыханием. От него пахло шерстью, снегом и травой. Не святыней. Не войной. Просто живым существом, которому было всё равно, спасала ли она Францию.

Жанна закрыла глаза.

Впервые за много месяцев рядом не стояла стража.

На рассвете один из кристаллов в доме вспыхнул.

Трир поднял голову.

Серебряный свет коснулся его груди и стал холодным, как петербургский снег.

Логос произнёс:

— Следующая точка. Россия. Тысяча восемьсот тридцать седьмой год.

Жанна открыла глаза.

— Кого теперь нужно спасать?

Трир посмотрел на неё.

— Поэта.

— Его тоже сожгут?

— Нет.

Он почувствовал, как кристалл сжал сердце предчувствием.

— Но его тоже попытаются убить.

Глава 29. Человек из снега

Трир вышел из временной щели лицом в снег.

Не на снег.

Именно лицом.

Сугроб принял его мягко только в первые мгновения, а затем ледяная крошка забилась за ворот, в рукава, волосы и рот. Трир дёрнулся, попытался подняться и провалился глубже — по пояс.

— Трир? — раздался в сознании голос Фьоры.

— Я здесь.

— Ты упал?

Он выплюнул снег.

— Нет. Стратегически вошёл в местность.

Фьора вздохнула.

— Я вижу, что ты упал.

Она оставалась на северном утёсе, за девять веков от него. Стояла с закрытыми глазами, пока ветер бил по лицу и тянул за волосы. Серебряная нить на её запястье пульсировала, уходя в невозможную даль. Фьора держала не руку брата — самую дорогу под его шагами. Малейшая потеря внимания могла оставить Трира в чужом времени без голоса, координат и пути назад.

— Не спеши, — сказала она.

Трир ненавидел эти слова.

Спешка была обещанием облегчить совесть. Терпение требовало смотреть, как беда приближается, и ждать той единственной секунды, когда вмешательство спасёт человека, но не уничтожит всё, ради чего он должен жить.

Трир выбрался из сугроба.

Холод этого века отличался от северного. В Люнгене мороз был сухим, древним и почти честным: он предупреждал хрустом снега, белым дыханием, звоном льда. Петербургская зима проникала исподволь. Влажный воздух цеплялся за одежду, просачивался под кожу, превращал пальцы в чужие деревянные предметы.

Снег лежал сероватыми пластами. Дорогу изрезали полотно саней, копыта и человеческие следы. Пахло дымом, мокрой древесиной, конским потом, рекой и большим городом, который даже за окраиной ощущался как огромное животное: дышал тысячами печей, гремел колёсами, прятал голод за фасадами.

Небо висело низко. Солнце не светило — только обозначало за облаками место, где когда-то должно было быть. Голые ветви чернели на белом поле, словно строки приговора.

Где-то впереди лежал Санкт-Петербург.

Трир видел этот город прежде в северном сиянии: гранит, колонны, шпили, широкая Нева, дворцы, отражённые в воде. Видение Логоса показывало красоту, потому что память любит фасады. Настоящая окраина была сырой, молчаливой, с заборами, дачами и низкими кустами. Чёрная речка пряталась

лась под снегом, тёмная даже зимой.

— Где именно я? — спросил он.

— Окрестности Санкт-Петербурга, — ответил Логос. — У Чёрной речки, недалеко от Комендантской дачи. Двадцать седьмое января тысяча восемьсот тридцать седьмого года по местному календарю.

Трир перестал чувствовать холод.

Он знал дату.

До этой минуты она была числом в Архиве. Теперь стала воздухом, снегом и металлическим вкусом во рту.

— День дуэли.

— Да.

Для читателя будущих веков имя Александра Пушкина будет звучать так, будто великий поэт всегда принадлежал вечности. Но в этот день он был живым человеком: мужем, отцом четверых детей, должником, ревнивцем, гордецом, человеком, измученным светскими сплетнями и оскорблением чести жены. Через несколько часов он встретится здесь с Жоржем Дантесом. Пуля перебьёт кость и войдёт в живот. Через два дня Пушкин умрёт.

Так запомнит история.

— Почему нельзя остановить дуэль? — спросил Трир, хотя уже знал ответ.

— Потому что исчезновение поэта после известного конфликта должно сохраниться, — сказал Логос. — Его смерть станет частью общественной памяти. Стихи, письма, воспо-

минания, государственный страх перед народным прощанием — всё это уже вплетено в последующие события.

— Ты говоришь о смерти, будто это чернила.

— Для истории — да. Для Натальи, детей и друзей — нет.

— Тогда почему мы вообще вмешиваемся?

Ветер швырнул в лицо снежную пыль. Трир отвернулся.

— Потому что видимая смерть не обязательно должна стать окончательной, — ответил Логос. — Пушкин должен исчезнуть для России, но не для мира.

— И продолжить писать?

— Не под своим именем.

Трир почувствовал злость.

— Вы хотите забрать у человека имя, родину, семью и назвать это спасением?

— Такова цена за его жизнь. Я хочу дать ему выбор, которого не оставит пуля.

Фьора тихо вмешалась:

— Сначала сохрани ему возможность выбирать.

Трир сжал кулаки. Пальцы сразу отозвались тупой болью.

Вдалеке заскрипели полозья. Он резко поднял голову.

По дороге прошли сани. Человек внутри даже не взглянул в его сторону.

— Пушкин уже едет?

— Ещё нет.

— Когда?

— Ближе к вечеру.

— Значит, мы прибыли рано.

— Мы прибыли вовремя, чтобы ты перестал выглядеть человеком из девятого века.

Трир посмотрел на собственную одежду. Плотная шерсть, кожа, ремни, мех, простые сапоги. Для родного Севера — разумно. Для Петербурга — приглашение к допросу.

— Я могу спрятаться.

— Тебе нужно войти в дом поэта после дуэли, — сказал Логос. — К нему будут допускать врачей, родных и людей, чьё положение не вызывает немедленных вопросов. Без имени и одежды ты не дойдёшь даже до передней.

— Значит, дай мне одежду.

— Время не выдаёт гардероб.

— Оно выдаёт огненную бездну, голоса в голове и способность собирать сломанные вещи. Но сюртук — слишком сложная задача.

Фьора засмеялась.

— Не отвлекайся.

Трир пошёл вдоль берега. Снег хрустел под сапогами. Каждый вдох охлаждал зубы. За редкими деревьями виднелись дачные дома. Из труб поднимался дым, иногда лаяли собаки. Где-то стучал топор.

Чем ближе он подходил к предполагаемому месту дуэли, тем сильнее кристалл под одеждой становился холодным.

И вдруг Трир увидел их.

Не людей.

След будущего события.

На белом снегу проступили две тёмные линии, хотя никто ещё не прошёл. Двадцать шагов. Барьеры. Места, где останутся противники. В воздухе висел запах пороха, которого пока не было. Ветка дрогнула от пули, которая ещё не была выпущена.

Трир шагнул ближе.

Видение ударило.

Пушкин падает в снег.

Белый покров мгновенно темнеет под ним. Дантес стоит у барьера. Секунданты бегут. Пушкин пытается приподняться, требует другой пистолет, стреляет в ответ. Лицо его искажено не страхом смерти — яростью от того, что тело больше не подчиняется.

Трир моргнул.

Снег снова был чистым.

— Я могу отклонить пулю, — сказал он.

— Нет.

— На толщину пальца. Она войдёт не туда.

— Тогда он не получит ранения, после которого мир поверит в смерть.

— Можно создать другую рану.

— Ты говоришь о человеке как о вещи, которую удобно повредить в нужном месте.

Слова Логоса обожгли сильнее упрёка.

Трир опустил глаза.

Он умел возвращать сломанные предметы к прежнему состоянию. В детстве починил чашу, потом лодку, потом человеческую кость. Дар породил опасную привычку: видеть в любой беде задачу. Трещина. Причина. Способ исправления.

Но человек не был задачей.

Пушкин сам придёт на дуэль. Сам поднимет пистолет. Это его пусть ошибочный, но осознанный выбор. Сам войдёт в цепь решений, где виноваты сплетни, гордость, любовь, общество и собственный характер. Спасти его — не значит объявить все эти причины несуществующими.

— Ты боишься, — сказала Фьора.

— Нет.

— Кристалл слышит тебя.

Трир положил руку на грудь.

Камень был ледяным.

— Я боюсь опоздать на один удар сердца.

— Тогда не трать другие удары на притворство.

Он закрыл глаза.

— Хорошо. Мне страшно.

Серебряная нить потеплела.

— Теперь слушай, — сказал Логос. — До дуэли тебе нужны легенда, одежда и человек, который введёт тебя в общество.

— И где взять всё это?

— У проруби.

Трир посмотрел на тёмную воду у берега.

Потом на небо.

Потом снова на воду.

— Нет.

— Да.

— Я не полезу туда.

— Полезешь.

— На улице мороз.

— В этом и убедительность.

— Я должен спасти Пушкина.

— Сначала ты должен стать графом.

Фьора уже смеялась.

— И каким образом вода превратит меня в графа?

Логос ответил с невозмутимой мудростью существа, которое никогда лично не стояло раздетым на петербургском морозе:

— Французским.

Глава 30. Граф из Парижа

План был настолько нелеп, что Трир сначала принял его за испытание веры.

Потом понял: Логос говорит серьёзно.

У берега темнела прорубь. Лёд вокруг неё был отполирован ведрами и ногами водоносов. Из воды поднимался тонкий пар, похожий на дыхание существа, которое жило под замёрзшей рекой и ждало очередного глупца.

— Повтори легенду, — сказал Логос.

— Я граф Тристан-Александр Павлович Оленьев.

— Происхождение?

— Древняя, обедневшая, но уважаемая ветвь. Мать русская. Отец служил за границей.

— Воспитание?

— Парижское.

— Привычки?

Трир посмотрел на прорубь.

— Самоубийственные.

— Холодные омовения для крепости тела, ясности ума и движения крови.

— Кровь и без того движется. Она пытается покинуть тело от ужаса.

Фьора рассмеялась в его сознании.

— Не смешно.

— Очень смешно. Прости.

Логос продолжал:

— Ты отпустил слугу, желая уединения. Пока купался, разбойник украл одежду, бумаги и кошелёк. Ты не смог преследовать его по очевидным причинам.

— Почему кто-то должен в это поверить?

— Люди охотно верят в странность, если она приехала из Парижа.

— Это оскорбительно для людей.

— Но исторически устойчиво.

Трир подошёл к краю проруби.

Сапоги скрипнули на льду.

— Мне нужно снять всё?

— Почти всё.

— Что значит «почти»?

— Кристалл должен остаться на теле.

— Великолепно. Моё достоинство погибнет, но миссия будет при мне.

Он оглядел берег. Никого.

Снял меховую накидку. Ветер сразу нашёл шею. Потом рубаху, пояс, сапоги. С каждым слоем зима становилась всё ощутимее. Она перестала быть погодой и превратилась в ледяные пальцы.

— Быстрее, — сказала Фьора.

— Хочешь прийти и помочь?

— Нет. Я хочу сохранить уважение к брату.

— Уже поздно.

Он спрятал одежду под корнями поваленного дерева, оставив на себе лишь то, что позволяло не поспорить окончательно с нравами всех эпох, и шагнул к воде.

Лёд под босыми ступнями был не просто холодным. Он обжигал. Кожа мгновенно прилипала к нему, и каждый шаг отдавался в зубах.

— Логос, — сказал Трир, — если это часть великого замысла, то у великого замысла отвратительное чувство юмора.

— Войди.

Он опустил ногу в прорубь.

Мир исчез.

Осталась только вода.

Она не окружила тело — напала. Сжала ступню, голень, колено. Когда Трир вошёл по пояс, дыхание оборвалось. Грудь свело так, будто ледяная рука втиснулась между рёбер и попыталась остановить сердце.

Он зашипел.

— Не могу вдохнуть.

— Можешь, — сказала Фьора. — Медленно. Не борись с первым спазмом.

Трир сделал короткий вдох. Воздух резанул горло.

Вторая нога онемела. Пальцы перестали существовать. Кожа болела везде сразу.

И вдруг он вспомнил Моха у зимнего ручья. Оленёнок ко-

гда-то увидел собственное отражение в тёмной воде, решил, что подо льдом живёт другой олень, и отступал задом до тех пор, пока не упал в снег.

«Если выживу, — подумал Трир, — больше никогда не буду над ним смеяться».

Мгновение спустя добавил:

«Громко».

— Кричи, — приказал Логос.

— Я и так внутренне кричу.

— Наружу.

Трир поднял голову.

— Помогите! Люди хорошие! Разбойники украли мою одежду!

Голос ушёл по дороге, ударился о голые деревья и серое небо.

Ничего.

Трир стоял в воде и чувствовал, как из него вместе с теплом уходит благородство.

— Ещё раз, — сказала Фьора.

— Всегда мечтал начать спасение великого поэта с крика о штанах.

— Громче.

— ПОМОГИТЕ! Я ГРАФ ОЛЕНЬЕВ! РАЗБОЙНИКИ УКРАЛИ МОЮ ОДЕЖДУ!

Издали донёсся скрип полозьев.

— Едут, — сказала Фьора.

— Наконец.

— Теперь будь убедителен.

— Я стою голый в ледяной воде. Убедительнее бывает только смерть.

Из-за поворота показались сани — добротные, городские, с тёплым пологом и парой крепких лошадей. Колокольчик под дугой звякал негромко, словно тоже смущался происшествия.

Сани остановились.

Из-под полога выглянул мужчина лет пятидесяти. Сухое лицо, седые бакенбарды, круглые очки, меховой воротник. Он посмотрел на Трира не испуганно, а с раздражённым любопытством человека, который считал, что уже видел все формы человеческой глупости, и только что обнаружил пробел в образовании.

— Милостивый государь, — произнёс он, — кто вы и по какой причине изображаете античного мученика посреди петербургской зимы?

Трир выпрямился. Вода поднялась выше.

— Граф Тристан-Александр Павлович Оленьев. Недавно вернулся из Парижа. Совершал утреннее холодное омовение.

— В январе?

— Для движения крови.

Мужчина моргнул.

Кучер перекрестился.

— Барин, может, он помешанный?

— Семён, помешанные редко начинают с графского титула так уверенно. Обычно сразу объявляют себя императорами.

Трир продолжил, стараясь не стучать зубами:

— Я отпустил слугу, желая насладиться тишиной. Пока находился в воде, подлый человек похитил одежду, бумаги и кошелёк. Преследовать его я не мог по причинам, которые вы, надеюсь, оцените без подробностей.

Мужчина несколько секунд смотрел молча.

Потом рассмеялся.

— Превосходно. Или вы действительно граф, или самый воспитанный мошенник в России. В обоих случаях оставлять вас в реке невежливо. Семён, тулуп. И отвернитесь. Даже графы из Парижа имеют право на остатки тайны.

Триру бросили старый овчинный тулуп.

Он выбрался из воды. Ноги не слушались. На первом шаге он поскользнулся, взмахнул руками и чудом удержался. Потом поднял подбородок с видом человека, который именно так и планировал выходить из проруби.

— Парижская техника? — спросил незнакомец.

— Заключительная часть.

— Должно быть, укрепляет смирение.

— Особенно у свидетелей.

Мужчина протянул фляжку.

— Глотните. Не для крови. Для духа.

Трир понюхал. Внутри было что-то крепкое. Сделал маленький глоток.

Горло вспыхнуло, будто он проглотил северный костёр.

— Это что?

— Лекарство от французского воспитания.

Тепло медленно спустилось в грудь. Не согрело тело, но напомнило, что оно ещё существует.

— Коллежский советник Лев Андреевич Муромцев, — представился мужчина. — Человек не настолько знатный, чтобы проехать мимо раздетого графа, и не настолько глупый, чтобы сразу ему поверить.

Он прищурился.

— Оленьевы... Позвольте. В Париже я знал Павла Аркадьевича Оленьева. Сухой, тонкий, вечная мигрень. Поправлял французов, когда они говорили о России, и русских, когда они говорили о Франции.

Логос мгновенно произнёс:

— Подтверди. Отец. Без подробностей.

Трир кивнул.

— Мой отец.

Муромцев оживился.

— Вот как! Мы встречались у мадам де Валькур. Там был ещё молодой человек, который весь вечер говорил громче всех и уверял, что история существует только затем, чтобы из неё делать театр.

— Александр Дюма, — подсказал Логос.

— Дюма, — сказал Трир.

Муромцев хлопнул ладонью по колену.

— Именно! Непереносимый и очаровательный. После него в комнате всегда казалось, что мебели стало меньше, а воздуха больше. Так вы тот самый Тристан, который, по слухам, купался в холодной воде и однажды довёл почтенную француженку до обморока, заявив, что русская зима — лучшая гувернантка для крови?

Трир растерялся.

Фьора быстро сказала:

— Улыбнись. Он сам создаёт твою легенду.

Трир улыбнулся.

— В Париже многое преувеличивают.

— А в России многое проверяют морозом, — ответил Муромцев. — Садитесь. Вы поедете ко мне. В таком виде в город нельзя. Петербург простит долги, дуэли, любовные письма и дурные стихи. Но появление без штанов не простит ни один салон.

Трир забрался в сани. Тулуп едва прикрывал колени. Кучер упорно смотрел только вперёд.

Лошади тронулись.

— Ты справился, — сказала Фьора.

— Я ещё не чувствую половину тела.

— Зато чувствуешь унижение. Значит, жив.

Трир откинулся на сиденье. За пологом проплывали заснеженные деревья.

— Логос, этот человек действительно знал Оленьева?

— Знал человека с похожей фамилией и подходящими привычками. Память сама достроила мост.

— Ты изменил его воспоминания?

— Нет. Я позволил ему выбрать объяснение, которое уже существовало.

— Удобная разница.

— Любая легенда опасна, когда начинаешь верить в неё сам.

Трир посмотрел на свои руки, завернутые в край тулупа.

Он уже не был только сыном Эйи. Для Муромцева он стал сыном вымышленного отца, графом, человеком из Парижа. Ложь давала дверь. Но каждая дверь могла однажды захлопнуться с другой стороны.

— Запомни, кто ты, — сказала Фьора, словно услышала мысль.

— Твой брат.

— Этого пока достаточно.

Сани свернули к дому, в окнах которого горел тёплый свет.

Трир ещё не знал, что там его ждёт человек, чья кровь ответит серебром на его появление.

И что спасение Пушкина начнётся не с поэта.

С крика служанки.

Глава 31. Дом Муромцева

Дом Муромцева стоял среди голых лип и тёмных елей.

Не дворец — крепкое загородное имение с мезонином, широким крыльцом и окнами, наполненными жёлтым светом. Из трубы поднимался дым. У конюшни парили лошади. Пахло сеном, навозом, горячим металлом и деревом.

После проруби этот дым показался Триру самым разумным явлением девятнадцатого века.

Сани остановились.

Он попытался встать и понял, что ноги принадлежат не ему. Колени подогнулись. Муромцев успел подхватить его за локоть.

— Осторожнее, граф. Парижское здоровье требует русской поддержки.

— Я могу идти.

— Несомненно. Но желательно не вниз головой.

В передней поднялась суета.

— Графа ограбили! — объявил Муромцев так громко, будто привёз трофей. — И, что ещё хуже, ограбили в момент, когда он укреплял кровь по-парижски. Анна Степановна, горячий чай, бельё, лучший сюртук покойного племянника, сапоги, полотенца. И скажите Прасковье, чтобы не ахала.

Навстречу вышла женщина в тёмном платье и кружевном чепце. Строгое лицо, прямые плечи, связка ключей у пояса.

Она окинула Трира взглядом: мокрые волосы, овчинный тулуп, босые посиневшие ноги.

Не ахнула.

Только сказала:

— Париж, Лев Андреевич, доведёт Европу до гибели.

— Несомненно, Анна Степановна. Но пока он довёл до нас гостя. Придётся спасать.

Слуги бросились выполнять распоряжения.

Тёплый воздух дома оказался болезненнее мороза. Кровь возвращалась в пальцы иглами. Трир не мог решить, чего хочет больше: прижать руки к огню или снова сунуть их в снег, чтобы прекратить жжение.

Молодая служанка принесла чашу. У неё было утомлённое лицо и тёмный ожог на запястье.

— Осторожно, сударь. Горячее.

Трир взял чашу. Она дрогнула в его руках.

— Как тебя зовут?

Девушка удивилась.

Господа обычно замечали поднос раньше человека.

— Прасковья.

— Спасибо, Прасковья.

Она покраснела и быстро опустила глаза.

Внутри чаши пахло чаем, мёдом и чем-то ягодным. Первый глоток обжёг язык. Тепло растеклось по груди медленно, почти мучительно.

Трир оглядел дом.

В гостиной горел камин. На стенах висели портреты, в шкафах блестело серебро. Толстые ковры глушили шаги хозяев. Но в коридоре, где ходили слуги, каменный пол оставался холодным, а на ногах Прасковьи были тонкие туфли.

Серебряные ложки лежали под замком.

Человеческая усталость — на виду, и потому никем не замечалась.

— Не отвлекайся от миссии, — напомнил Логос.

Трир посмотрел на ожог Прасковьи.

— Боль безымянного человека меньше боли великого поэта?

— Нет.

— Тогда это тоже миссия.

Логос ничего не ответил.

Иногда молчание высшей силы означало согласие. Иногда — предупреждение, что человеку придётся отвечать самому. На лестнице скрипнула ступень.

Трир поднял голову.

Она стояла наверху с подсвечником в руке.

Свеча освещала лицо снизу, и оно казалось написанным на тёплом золоте: большие тёмные глаза, спокойный лоб, тонкие губы. Светлое домашнее платье, тёмная шаль, простая лента в волосах. Никакой показной роскоши.

Но Трир заметил не красоту первой.

Первым он увидел, как девушка остановила взгляд на босых ногах, а затем перевела его на растерянного гостя. В её

лице была мягкость, которая не отменяла ума, и ум, который не нуждался в жестокости, чтобы казаться сильным.

— Софья Львовна, — позвал Муромцев, — не смотрите так строго. Я привёз не скандал, а почти трагедию. Господина графа ограбили во время водяного укрепления крови.

Девушка спустилась на несколько ступеней.

— В январе? — спросила она.

— В январе, — с достоинством подтвердил Трир.

— В воде?

— Там обычно и происходит омовение.

Её губы дрогнули.

Она не рассмеялась, но Трир понял: удержалась только из милосердия.

— И разбойник дождался, пока вы разденетесь?

— Подлость часто обладает терпением.

— А предусмотрительность?

— Осталась в Париже.

На этот раз Софья всё-таки рассмеялась. Тихо, коротко, будто смех вырвался раньше воспитания.

Трир почувствовал странный толчок в груди.

Не серебро.

Пока только человеческий звук.

— Тогда его нужно немедленно переодеть, папенька, — сказала Софья. — Иначе ваша новая трагедия закончится воспалением лёгких.

— Разумно. Видите, граф, ради этого в доме и нужны до-

чери. Они превращают чужие приключения в полотенца и сухие чулки.

Анна Степановна распорядилась отвести Трира в гостевую комнату.

Прасковья подала ему полотенце. Трир заметил, что девушка держит правую руку неловко.

— Ожог болит?

Она испуганно спрятала запястье.

— Старый, сударь.

— Старое тоже может болеть.

Прасковья посмотрела так, словно эти слова были опаснее вопроса.

— Не задерживай прислугу, граф, — сухо сказала Анна Степановна. — В доме много дел.

Трир почувствовал в её голосе не жестокость, а привычку. Иногда человек причиняет унижение не потому, что ненавидит, а потому, что никогда не рассматривал другого как равного участника мира.

Он мог ответить резко. Фимм ответил бы. Атта потребовала бы объяснений. Но чужой дом был построен на правилах, которые Трир ещё не понимал. Сломать их одним дерзким словом означало оставить Прасковью отвечать за последствия.

— Благодарю, — сказал он служанке ещё раз.

Только это.

Малое действие редко выглядит героическим. Но Праско-

вья выпрямилась на едва заметную долю — будто на мгновение вспомнила, что у неё есть имя.

Гостевая комната пахла воском, лавандой, чистым бельём и старой мебелью. Возле кровати поставили таз с тёплой водой.

— Только не говорите, что и это парижский обычай, — сказала Софья из-за двери.

— Нет. После сегодняшнего я намерен отказаться от Франции в вопросах воды.

— Разумное начало.

Её шаги удалились.

Трир прикоснулся ладонью к груди.

— Фьора.

— Я слышу.

— Почему сердце так бьётся?

— Ты стоял в ледяной воде.

— Уже прошло.

— Тогда, возможно, ты увидел красивую девушку.

— Я видел красивых девушек.

— Не сомневаюсь. Они, вероятно, старались не задерживаться.

— Очень смешно.

— Это месть за прорубь.

Триру дали сухую рубаху тонкого полотна, панталоны, чулки, жилет, сюртук и шейный платок. Он разложил вещи на кровати, как неизвестные инструменты.

— Что надевать первым?

— Рубаху, — сказала Фьора.

— Это я понял.

— Уже успех.

Чужая одежда была слишком узкой в плечах и слишком сложной в завязках. Пуговицы казались созданными человеком, который ненавидел пальцы. Чулки требовали терпения. Шейный платок — отдельной религии.

Трир трижды завязал его.

Трижды получил конструкцию, похожую на раненую птицу.

— Как люди этого времени успевают спасти мир, если столько времени уходит на одежду?

— Ты граф. Страдай достойно, — ответила Фьора.

Логос добавил:

— Узел выше. В Петербурге по плохо завязанному платку могут понять о человеке больше, чем по исповеди.

— Я начинаю уважать северные ремни.

— Они уважения не требовали. Только держали одежду.

Дверь приоткрылась.

— Можно? — спросила Софья.

Трир мгновенно схватил сюртук и прикрыл им грудь, хотя рубаха уже была надета.

Она вошла, держа другой шейный платок.

— Этот короче. Покойный кузен был меньше ростом.

— Я справлюсь.

Софья посмотрела на узел.

— Вижу.

— В Париже так носят.

— Тогда Париж действительно обречён.

Она положила новый платок на стул.

Их взгляды встретились.

Трир почувствовал неловкость, которой не испытывал перед волками, временными щелями и даже прорубью. Опасность обычно была понятна. Здесь ничего не угрожало жизни — только спокойствию.

— Вы всегда так внимательно смотрите на незнакомцев?
— спросил он.

— Только на тех, кто появляется без одежды и с легендой.

— Вы мне не верите.

— Верю, что вы замёрзли. Остальное пока не решено.

— Ваш отец поверил.

— Папенька любит хорошие истории сильнее доказательств. Это делает его приятным собеседником и опасным свидетелем.

Трир улыбнулся.

— А вы что любите?

Софья задумалась.

— Правду. Но не ту, которой люди бьют друг друга, чтобы показать собственную честность. Ту, после которой становится понятнее, как поступить.

Фраза неожиданно напомнила Триру мать.

— Такая правда редко бывает удобной.

— Удобство вообще переоценено людьми, у которых есть слуги.

Софья посмотрела на дверь, за которой прошла Прасковья.

Трир понял: она тоже видит дом иначе, чем остальные.

— Вы заметили её руку? — спросил он.

— Ожог? Да.

— Кто виноват?

— Кухонный приказчик. Уронил котёл, а потом сказал, что она сама подвернулась.

— И что было?

— Прасковью лечили. Его отругали.

— Только отругали?

Софья сжала губы.

— В этом доме считают, что хороший слуга заменим, а хороший управляющий — нет.

— А вы?

— Я считаю, что боль не становится меньше оттого, что у человека нет фамилии.

Серебряная нить под кожей Трира потеплела.

Он ещё не видел света на её руке.

Но что-то уже узнавало её.

Снизу раздался голос Муромцева:

— Софья! Граф не должен умереть в гостевой комнате. Это испортит мою репутацию!

— Я уже почти одет, — крикнул Трир.

— «Почти» — опасное слово для графа, найденного без штанов!

Софья отвернулась, скрывая улыбку.

Она протянула руку к мокрому тулупу, который слуга оставил на стуле.

И в этот миг под тонкой кожей её запястья вспыхнуло серебро.

Глава 32. Серебряная нить Софьи

Свет длился меньше удара сердца.

Обычный человек принял бы его за отражение свечи.

Трир не мог.

Серебряная нить под кожей Софьи прошла от запястья вверх и исчезла под рукавом. Его собственный кристалл ответил тихим толчком, будто два давно разлучённых звука встретились в одном аккорде.

Трир замер.

— Логос.

— Я вижу.

— Это невозможно.

— Невозможное — слово, которым человек называет причины, о которых ещё не знает.

Софья всё ещё держала руку протянутой.

— Вам дурно, граф?

— Нет.

— Вы смотрите так, будто увидели привидение.

— Свет.

Она оглянулась на свечу.

— Он обычно падает на предметы. Не пугается их.

Трир медленно передал ей край тулупа. Их пальцы не соприкоснулись, но воздух между ними тонко зазвенел — как лёд на далёком озере перед трещиной.

Фьора произнесла:

— Я тоже почувствовала.

— Кто она?

Логос ответил не сразу.

Вместо слов кристалл показал Триру образы.

Женщина у другого огня. Не Эйя. Другой век, другая земля. Серебро под кожей. Испуг людей. Свет, слишком сильный для человеческого тела. Потом комната, где женщина сидит, прижав ладони к голове, потому что слышит тысячи чужих воспоминаний и не может вспомнить собственное имя.

Другой человек идёт по дороге, не зная, что внутри него спит нить. Он живёт обычную жизнь, любит, растит детей, умирает, так и не услышав Архив.

Ещё одна женщина протягивает руки к кристаллу — и огонь охватывает её изнутри.

Видение исчезло.

— До Эйи были попытки, — сказал Логос. — Неудачные.

— Ты создавал других Матерей?

— Искал тех, кто сможет принять память Вселенной и не потерять человеческое сердце. Одни носители сгорели. Другие утратили разум. Третьи прожили обычную жизнь, потому что дар не открылся.

— И это ты называешь попытками?

В голосе Трира появилась ярость.

— Я называю ошибками то, что было ошибками.

— Они знали цену?

Долгая пауза стала ответом.

— Не все.

Трир сжал мокрый край ткани.

— Тогда мама была права спрашивать, кто дал тебе право.

— Да.

Признание обезоружило сильнее оправдания.

— Софья — потомок одной из них? — спросил он.

— Правнучка женщины, которой я дал часть памяти. Та не выдержала полного света, но малая нить ушла в род. Не как проклятие. Как возможность, которая может никогда не раскрыться.

Трир посмотрел на Софью.

Она стояла перед ним, живая, ничего не знающая о давно умершей прабабке и космическом замысле. Не сосуд. Не продолжение чужой неудачи. Девушка, которая видела боль служанки, умела смеяться над нелепостью и не принимала легенды без вопросов.

— Ты привёл меня сюда ради неё?

— Я привёл тебя к Пушкину. Время привело тебя в этот дом. Не всё, что происходит, устроено мной.

— Удобно делить ответственность со Вселенной.

— Дерзость полезна, Трир, пока не становится способом не слышать ответ.

Фьора вмешалась мягко:

— Брат, сначала выдохни.

Он понял, что действительно не дышит.

Софья смотрела всё внимательнее.

— Вы разговариваете с кем-то? — спросила она.

— Иногда с собой.

— И кто побеждает?

— Пока не я.

— Значит, собеседник разумен.

Трир невольно улыбнулся.

Серебро на её запястье больше не появлялось.

— Софья Львовна, вам когда-нибудь снились звёзды? — спросил он.

Она насторожилась.

— Всем снятся звёзды.

— Падающие не вниз, а вверх.

Её пальцы сжали тулуп.

— Откуда вы знаете?

Трир почувствовал, как Фьора мысленно произнесла: «Осторожно».

— Угадал.

— Нет. Люди не угадывают одинаковый сон с точной ошибкой природы.

Она подошла ближе.

— С детства я вижу тёмный лёд за последней планетой. Хотя не знаю, что значит «последняя». Вижу женщину с серебряными руками. Она зовёт меня именем, которого у меня нет. Иногда просыпаюсь и несколько мгновений помню

чужую смерть яснее собственной жизни.

Трир молчал.

— Это болезнь? — спросила Софья.

В её голосе впервые появился страх. Не театральный, не красивый. Очень простой: страх человека, который годами подозревал в себе трещину и наконец увидел, что кто-то другой тоже её заметил.

— Нет.

— Откуда вы знаете?

— Потому что в моей семье такие сны называют памятью.

Она посмотрела на него так, будто комната накренилась.

— В вашей семье?

— Я не могу объяснить всё сейчас.

— Потому что вы граф или потому что лжёте?

— Потому что правда может разрушить вашу жизнь быстрее лжи.

Софья резко отступила.

— Это фраза, которой мужчины оправдывают почти любое молчание.

Трир почувствовал укол стыда.

— Справедливо.

Он мог приказать кристаллу показать ей. Мог доказать. Мог открыть Архив, прикоснуться к нити и навсегда изменить её представление о мире.

Но Атта когда-то спросила у собственного кристалла: «Кто дал тебе право выбирать меня, если я не выбрала тебя?»

Софья имела то же право.

— Я скажу только одно, — произнёс Трир. — С вами не происходит ничего, что делает вас менее собой. Ни сон, ни свет, ни чужая память не получают права решать за вас.

— А вы получаете?

— Нет.

Ответ прозвучал быстро.

Софья долго смотрела ему в лицо.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда начните с малого. Кто вы на самом деле?

Трир открыл рот.

Логос предупредил:

— Нельзя.

Фьора сказала:

— Не лги больше необходимого.

Между двумя голосами оставалась узкая тропа.

— Меня действительно зовут Трир, — сказал он. — Я не тот граф, за которого меня принимают. Но пришёл не за деньгами и не для вреда вашему дому.

— За чем?

Перед глазами Трира возник Пушкин, падающий в снег.

— За человеком, который сегодня должен умереть.

Софья побледнела.

— Вы собираетесь его убить?

— Спасти.

— Это ещё хуже звучит.

— Знаю.

— Кого?

— Пока не могу назвать.

— Опять не можете.

— Да.

Она повернулась к двери.

— Тогда нам не о чем говорить.

Трир позволил ей сделать шаг.

— Софья.

Она остановилась. Он впервые назвал её без отчества, и это прозвучало слишком близко.

— Серебро не означает, что вы мне предназначены, — сказал он. — Или Братству. Или какому-то замыслу. Это не цепь. Только дверь. Вы можете никогда её не открывать.

Софья медленно обернулась.

— А вы хотите, чтобы я открыла?

Честный ответ был опасен.

Он хотел.

Не потому, что Логос увидел цель. Потому что уже не хотел уходить из дома, где она находилась. Эта мысль испугала сильнее проруби.

— Я хочу, чтобы выбор был вашим, — сказал Трир.

— Это не ответ.

— Единственный, на который я сейчас имею право.

Софья опустила взгляд на своё запястье.

— Я ничего не видела.

— Но почувствовали.

— Звон.

— Я тоже.

— И что он значит?

— Что наши дороги способны соприкоснуться.

— Способны — не обязаны?

— Не обязаны.

Она кивнула. Страх не исчез, но в нём появилось пространство для любопытства.

— Тогда завяжите платок, Трир, который не граф. И постарайтесь не умереть до обеда. После обеда я решу, хочу ли продолжить этот разговор.

Она вышла.

Фьора молчала несколько мгновений.

— Что? — спросил Трир.

— Ты сказал правду.

— Не всю.

— Но достаточно, чтобы не украсть у неё выбор.

Логос добавил:

— Это важнее полного признания.

— Ты теперь одобряешь право выбора?

— Я учусь.

Трир взял новый платок.

— Вселенная учится на людях. Прекрасно. Жаль, что учебные ошибки обычно хоронят людей, а не Вселенную.

Логос не ответил.

Трир завязал узел. На этот раз получилось почти прилично.

Когда он вышел в гостиную, Муромцев оглядел его и одобрительно кивнул.

Чужой сюртук сделал Трира старше: тёмная ткань подчёркивала резкие плечи, белый платок — бледность после холода. В нём возникла опасная смесь, которую свет принимал за породу: северная выправка, парижская легенда, ясный взгляд и настороженность человека, помнящего, что не принадлежит этому времени.

— Вот теперь верю окончательно, — сказал Муромцев. — Мошенник так быстро в графа не превращается. Он сначала требует денег.

— Некоторые мошенники терпеливы.

— Тем интереснее.

Софья сидела у окна с книгой. Не подняла головы, но Трир видел: страницу она не перевернула ни разу.

Прасковья накрывала на стол. Её движения были быстрыми и осторожными. Она поставила тяжёлый серебряный кофейник, и повреждённая рука дрогнула.

— Я помогу, — сказала Софья, вставая.

— Не нужно, барышня.

— Нужно.

Анна Степановна нахмурилась.

— Софья, оставь. Для этого есть люди.

Фраза повисла в комнате.

Для этого есть люди.

Будто существовали отдельные люди для тяжести, холода, ожогов и чужого удобства.

Софья всё равно взяла поднос с другой стороны.

Прасковья благодарно взглянула на неё. И вышла.

В этот миг из глубины дома раздался грохот.

Потом крик.

Приглушенный крик Прасковьи.

Трир рванул с места прежде, чем вспомнил, что графы обычно не бегают на кухню.

Серебряная нить Софьи вспыхнула вслед за ним.

Глава 33. Шпага за честь служанки

Крик Прасковьи оборвался так резко, будто кто-то зажал ей рот ладонью.

Трир вылетел из гостиной. Софья — за ним. За их спинами опрокинулся стул, звякнула ложка, и Лев Андреевич успел только возмущённо произнести:

— В моём доме люди обычно бегут либо от пожара, либо к наследству!

Боковая галерея была узкой и холодной. Сквозь высокие окна тянуло морозом; на стёклах разрослись белые листья, такие тонкие, словно зима пыталась написать собственную книгу и не знала человеческого алфавита. На полу лежал разбитый кувшин. Чай растёкся по доскам тёмным пятном, пар поднимался над ним, как дыхание раненого существа.

Прасковья стояла у стены. Молодой офицер в расстёгнутом мундире держал её за больное запястье. Другой рукой он прижал к стене сложенное письмо.

— Я ведь только спросил, кому несёшь, — говорил он почти ласково. — Зачем так дрожать? Люди подумают, будто я тебя обидел.

Именно это было хуже всего. Не его пальцы. Не запах вина. Не блеск пуговиц. Его спокойствие. Уверенность человека, который заранее знает: если слабый закричит, виноватым сделают слабого — за шум, за непочтительность, за испор-

ченное настроение господ.

— Пустите, барин, — прошептала Прасковья.

— Слышишь, как хорошо говорит? «Барин». А глаза злые.

Он сжал сильнее и прильнул к ней слишком близко.

Прасковья вскрикнула.

Несколько гостей уже вышли из столовой. Один пожилой господин остановился у двери и нахмурился, но не сделал шага. Дама в лиловом платье отвернулась, будто неприличие заключалось не в поступке офицера, а в том, что ему пришлось увидеть. Кто-то кашлянул. Кто-то тихо сказал: «Молодость». Так люди часто дают злу уменьшительное имя, чтобы не вступать с ним в спор.

Трир почувствовал, как кристалл под рубахой стал горячим.

Не от приказа Логоса.

От его собственного гнева.

— Отпустите её.

Офицер повернул голову.

— Что?

— Руку. Отпустите.

— А вы, стало быть, тот самый голый граф?

За спиной Трира кто-то подавился смешком. Муромцев закрыл глаза ладонью.

— Уже одетый, — заметил Трир. — И с каждым часом всё менее терпеливый.

Фьора мгновенно отозвалась через серебряную нить:

— Не горячись. У него шпага.

— У меня есть руки.

— Это не северная драка. Здесь тебя сначала оскорбят, потом убьют по правилам и будут считать, что порядок соблюден.

Офицер отпустил Прасковью, но лишь затем, чтобы вернуться к Триру всем телом. Девушка прижала руку к груди. Письмо осталось у стены, почти под каблуком мужчины.

— Назовитесь, — потребовал он.

— Зачем?

— Чтобы я знал, чью фамилию испортил.

— Начните со своей. Она у вас уже в опасности.

Софья тихо вдохнула. Лев Андреевич пробормотал:

— У юноши удивительный дар превращать спасение в государственное происшествие.

Офицер побагровел.

— Щенок.

— Это всё?

— Философ? Или бедный поэт?

Трир посмотрел на письмо у его ног.

— Сегодня поэтов и без меня хватает.

Последняя фраза задела офицера сильнее прямого оскорбления. Возможно, потому что он не понял её. Человек особенно яростно защищается от смысла, который подозревает, но не способен назвать.

Сталь вышла из ножен с сухим, ясным звуком.

В галерее сразу стало тише.

Шпага была тонкой, почти невесомой на вид. Её остриё дрогнуло у груди Трира. На Севере оружие честно показывало тяжесть. Топор требовал плеча. Копьё — расстояния. Нож — близости, от которой не спрячешься за красивым жестом. Шпага казалась оружием города: быстрая, изящная, смертельная и достаточно тонкая, чтобы кровь не сразу испортила одежду.

— Защищайтесь, граф.

— Логос, — мысленно произнёс Трир. — Я не умею этим пользоваться.

— Теперь умеешь.

— Мне уже не нравится начало объяснения.

Кристалл ударил холодом в грудь.

Знание вошло в него не словами. Тело вдруг увидело линии, которых раньше не существовало: расстояние между носками сапог; слабую часть клинка; угол кисти; мгновение, когда плечо выдаёт выпад раньше, чем движется остриё. Он понял стойку, парирование, перевод, шаг назад.

Понял — но не научился.

Это было всё равно что увидеть карту моря, стоя на тонущей лодке.

— Схема не сделает меня фехтовальщиком, — сказал Трир.

— Нет, — ответил Логос. — Она удержит тебя в живых первые три удара.

— А потом?

— Потом придётся действовать по обстоятельствам.

Офицер бросил ему шпагу своего приятеля. Трир поймал её не за рукоять, а почти за гарду. По толпе пробежал смешок.

— Очень обнадеживает, — сказала Фьора.

— Я стараюсь выглядеть безобидным.

— Получается убедительно.

Они вышли во внутренний двор.

Мороз схватил лицо. Снег лежал между стенами ровно, пока сапоги гостей не изрезали его следами. Лошади в конюшне беспокойно переступали. Над крышей дома кружили два чёрных ворона. Они не каркали, только поворачивались в воздухе, будто следили за остриём клинка. В этот момент Трир вдруг подумал, что черные вороны словно были вне времени и вне пространства, казалось, что это те же самые вороны, которые часто кружились над его домом на северном утесе в моменты тревоги.

Софья остановилась у двери без шубы. На её плечи сразу лёг снег.

— Вернитесь в дом, — бросил Трир.

— Сначала вы перестаньте командовать там, где вас никто не назначал.

— Здесь холодно.

— Вы только что вышли из проруби. Не вам читать мне лекцию о погоде.

Офицер встал напротив.

— Готовы?

Трир хотел ответить, что нет. Что разумный человек никогда не готов к стали у лица. Что страх уже сжал живот и сделал ладонь влажной. Но рядом стояла Прасковья. На её запястье проступали красные пальцы. Она смотрела на него не как на героя. Как на человека, который пообещал действием, что её боль существует.

— Начинайте.

Первый выпад пришёл слишком быстро.

Трир увидел движение плеча — и всё равно отступил поздно. Острие прошло у груди. Воздух коснулся ткани холоднее металла. Его пятка скользнула; мир качнулся. Он удержался, но офицер уже возвращал клинок.

Второй удар Трир отбил. Сталь столкнулась со сталью, и звон отдался в зубах.

Третий прошёл по рукаву.

Ткань расползлась. На коже появилась тонкая красная линия. Кровь выступила не сразу, затем собралась в каплю и покатилась к запястью.

Фьора вскрикнула у него в сознании:

— Трир!

— Жив.

— Не геройствуй.

— Пытаюсь не умереть максимально скромно.

— У тебя ужасное представление о скромности.

Первые три удара закончились.

Чужое знание перестало вести его.

Остался он сам.

Офицер наступал уверенно. Снег хрустел под каблуками в одном и том же ритме. Вдох — шаг. Плечо — выпад. Выдох — возвращение. Трир вдруг услышал не технику, а человека внутри неё. Раздражение делало движения резче. Самоуверенность удлиняла выпад. Офицер уже видел Трира побеждённым и потому сражался не с ним, а с заранее придуманным исходом.

Гордыня двигалась первой.

Трир позволил ей сделать это.

Он отступил неловко, почти испуганно. В толпе кто-то ахнул. Офицер поверил. Рванулся вперёд шире, чем следовало.

Трир ушёл в сторону.

Клинки соприкоснулись. Он повернул кисть, сбил чужую шпагу вниз и ударил рукоятью по запястью.

Офицер вскрикнул.

Его оружие упало в снег.

Ещё одно движение — и остриё Трира остановилось у его горла. На коже появилась маленькая белая вмятина.

Всё стихло.

Даже вороны перестали кружить и зависли на коньке крыши.

Офицер дышал тяжело. В его глазах была не только ненависть. Там жило потрясение человека, впервые столкнувшего

гося с пределом собственной безнаказанности.

— Вы проиграли, — сказал Трир.

— Ты пожалеешь.

— Возможно. Но не сегодня.

Он мог оставить царапину. Мог унижить. Мог заставить просить прощения на коленях. Гнев требовал знака, который этот человек запомнит телом.

Но Трир вспомнил Прасковью.

Если защитник наслаждается чужим унижением, он слишком быстро становится похож на того, кого остановил.

Трир опустил шпагу.

— Поднимите оружие и уходите.

— Вы не потребуете извинений?

— Извинение, вырванное клинком, принадлежит клинку.

Не вам.

Офицер медленно поднял шпагу. Снег прилип к его рукаву. Он ушёл, не глядя ни на Прасковью, ни на гостей. Его приятель поспешил следом.

Люди заговорили сразу, облегчённо и громко. Теперь, когда опасность закончилась, у каждого нашлось мнение. Пожилой господин сообщил, что «с самого начала осуждал поведение молодого человека». Дама в лиловом сказала, что всё произошло «ужасно внезапно». Равнодушие всегда становится нравственным после того, как кто-то другой уже рискнул.

Прасковья подобрала письмо.

— Спасибо, барин.

— Я не барин.

Она посмотрела на разрезанный рукав, потом на его лицо.

— Тогда спасибо, кто бы вы ни были.

— Вы ранены?

— Нет. Только рука.

— Письмо важное?

— К лекарю. У моей сестры мальчик вторую ночь горит.

Барыня позволила послать за доктором.

Она прижала письмо к груди и побежала к выходу.

Кристалл Трира вспыхнул.

Время раскрылось на одно мгновение.

Он увидел каменный порог. Прасковья падает, ударяется виском. Письмо скользит под шкаф. В маленькой комнате на окраине города ребёнок лежит на руках у матери. Горячее дыхание становится всё реже. Свеча догорает раньше, чем приходит врач.

Видение дрогнуло.

Теперь Прасковья бежала по снегу. Письмо было у неё. Доктор открывал дверь. Ребёнок кашлял, плакал, цеплялся за материнский палец.

Жил.

Свет погас.

Трир пошатнулся.

Софья первой взяла его под локоть.

— Рана?

— Нет.

Логос произнёс:

— Ты оставил след.

— Я знаю.

— Но он чистый.

— Чистых следов не бывает.

— Этот спас жизнь и не отнял чужой выбор.

Трир посмотрел на ворота, за которыми исчезла Прасковья.

— Значит, я сделал правильно?

— Да.

Фьора добавила:

— И начал понимать эпоху. Здесь зло часто носит перчатки.

Трир поднял взгляд.

Софья стояла совсем близко. Снег таял в её волосах. Она смотрела на него уже не как на странного графа из Парижа, не как на загадку, вошедшую в дом без имени и прошлого.

Она увидела человека, который рисковал миссией ради служанки, чьё имя не попадёт в хроники.

И что-то в ней сделало выбор раньше, чем разум успел испугаться.

Серебряная нить на её запястье вспыхнула.

На этот раз Софья увидела её сама.

Она не закричала.

Только прошептала:

— Теперь я точно не отпущу вас одного.

— Это угроза?

— Пока обещание.

Из дома донёсся голос Муромцева:

— Если граф закончил спасти честь Российской империи, бульон остывает!

Трир посмотрел на Софью.

— Кажется, приключение временно откладывается ради супа.

— Не обольщайтесь, — сказала она. — В нашем доме суп иногда опаснее шпаги.

Они вернулись внутрь.

Вороны снова поднялись над крышей.

Теперь они летели в сторону Чёрной речки.

Глава 34. За столом перед бурей

Стол был накрыт щедро, по-зимнему.

На белой скатерти стояли тонкие чашки, лимон на серебряной тарелке, варенье цвета тёмного янтаря, пироги, холодная телятина, рыба, хлеб, масло и глубокая тарелка бульона, над которой поднимался душистый пар. В комнате было тепло. От печи пахло сухими дровами. За окнами серел снег.

Трир понял, что голоден, только увидев еду.

До этого его тело было слишком занято холодом, дракой и страхом. Теперь желудок свело так резко, будто внутри проснулся отдельный человек и потребовал немедленно накормить хотя бы его, раз разум всё равно собирался погнаться за миссией.

Он поднёс ложку ко рту.

Бульон был горячим, с перцем и кореньями. Тепло скользило по горлу, разошлось по груди. На один короткий миг Трир снова почувствовал себя ребёнком у домашнего очага, когда Эйя заставляла всех есть медленнее, а Мох пытался незаметно стащить хлеб и каждый раз удивлялся, почему его замечают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.